

Светлана Голубева

*ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
ПЕРЕКРЁСТКИ*

Орёл, 2023

ББК 84(2р)6
Г 62

Художник Виктория Ступишина

Г 62 Светлана Голубева. Параллельные перекрёстки. Повести, рассказы, притчи. – Орёл: АО «Типография «Труд», 2023. – 292 с.

*Издание осуществлено при финансовой поддержке
Правительства Орловской области*

В судьбе человека есть место и счастливому случаю, и неожиданной встрече. Казалось бы, жизнь течёт своим чередом, но вот случается нечто, и всё становится с ног на голову, приходит в движение или даже превращается в сказку, которая, впрочем, наполнена самыми обычными человеческими чувствами и желаниями. Книга составлена из прозаических произведений реалистического, мистического, философского характера, наполненных добротой, надеждой и оригинальным мировидением.

ISBN 978-5-89436-265-6

ББК 84(2р)6

© Голубева С.С., 2023
© Ступишина В.А., 2023
© БУКОО «Орловский Дом литераторов», 2023

Повести



РОДНЫЕ НЕ БЛИЗКИЕ

Всё как оно было

Вниз по течению

Осевая улица деревни Броды – песчаный просёлок до самого устья – делит долину междуречья Великой и Молги на два неравных клина. Короткие переулки и усадьбы правой стороны (следуя к устью) задворками выходят на крутой берег маленькой Молги, левой – в широкие пойменные луга размеренной многоводной Великой. Противоположным концом улица упирается в асфальт посёлка геологоразведочной партии, втиснувшегося между деревней и железнодорожным мостом выше по течению Молги. Все, кому надо на станцию и в город, проходят через геологический посёлок, кто желает искупаться в одной из рек, может, конечно, выбрать разные места, но к самым удобным должен пробираться задворками деревни.

Посёлок и деревня составляют единое городское предместье, но жизнь их, было время, не смешивалась. Лет пятьдесят назад, геологи не слишком знали с селянами. Дети геологов бегали в некогда колхозный, потом ничей сад за яблоками, дрались с деревенскими, считавшими его своей вотчиной. Но вражда довольно быстро угасла или, может, изначально не была яркой, поскольку все в итоге учились в одной школе, город-

ской, далеко от междуречья, ходили вместе туда и обратно одной дорогой.

Жизнь продолжалась.

Мало-помалу, сначала незримо, потом всё явственнее, стала чахнуть деревня. Колхоз перестроился в агрофирму, та развалилась, молодые люди уезжали, уходили работать в ту же геологию, старики умирали. Геологический посёлок, напротив, казалось, набирал силу, обустроившись четырьмя двухэтажными многоквартирными домами.

Территория ребячьего раздора однажды тоже исчезла навсегда: геологи среди яблонь возвели ещё один дом. И стоял он, белокирпичный, между рядами старых антоновок, соединив посёлок и деревню в то, чем они, в общем, всегда были – единое поселение.

Приспели перестроечные времена, беспредел девяностых. Геологическую партию упразднили. Осталась кое-какая техника, остались люди, которым далеко до пенсии, но которые не умели жить согласно законам рыночной экономики, да и она в истинном виде не существовала. Инженеры и бурильщики пробовали искать заказчиков сами, но те, кому геологические работы были нужны, не могли заплатить. Не сколотился ещё тогда слой смелых разворотистых ребят, знающих, где, кому, что и как предложить. Но жить надо было. Двухэтажки окружились огородами. Под сараюшки с мелкой тварью (куры, козы, свиньи) спилили садовые деревья. Деревенские и поселковцы зажили общими заботами: сенокосами, урожаями, заготовками на зиму. В лес, что и сейчас обрамляет их широкой дугой по всему междуречью и дальше, за грибами-ягодами ходили те и другие. Так спасались от безденежья и предательских государственных посулов.

В недалёком от посёлка-деревни городе фабрики и заводы заменялись магазинами и торговыми скла-

дами, требовались люди с иными взглядами и умениями. Молодые поселковцы с разным успехом усваивали новое. Пожилые приняли деревенский уклад. Кто-то не зацепился нигде, не принял и не отверг новых законов, правил и веяний, но все попали в широкую вертикальную полосу незнакомой жизни и двигались в этом потоке быстрее или медленнее, выше или ниже, и выживали, стараясь или не стараясь сохранить человеческий облик. А время никого ни к чему и не принуждало: живи, как хочешь...

Утро

Солнце разбудило Галю мучительной щедростью света и тепла. Несмотря на ранний час, оно уже изрядно разогрело комнату.

– Нина, что я тебе скажу, – гулко отдавался в кирпичном пространстве подъезда и у Гали в комнате (такая слышимость в геологических домах) голос Элининой матери.

Элина – подруга Гали с малого детства и соседка по подъезду. Квартиры их семей расположены как раз друг над другом.

Полная, суетливая Фима (Евфимия, такое имя дали родители единственной дочери в многодетном семействе), встряхивая мелкими мягкими кудряшками, сбежала по лестнице и выпрыгнула на улицу, слышав, как из нижней квартиры выходит Нина, Галина мама.

«Небось, нарочно поджидала», – задорно подумала Галя.

Нина несла к мусорному контейнеру пакет и не думала слушать Фиму, тем более разговаривать с ней, но ту нарочитым равнодушием не остановишь.

– А что я тебе скажу, – ещё раз прозвенела Фима уже на улице. – Доченька моя приезжает, надумала, наконец, погостить, а то всё никак. Она ж главную роль в фильме получила.

Слова звучали восторженно, но неискренне, словно не для радости сказаны.

– Нина, ты вроде не рада. Девчонки наши в школе подружками были.

– Вспомни ещё детский сад, – бесстрастно отозвалась Нина, собираясь пройти мимо, но не тут-то было.

Фима сбавила тон и доверительно заглянула в лицо соседки.

– За Галю переживаешь?

– С чего бы?

– Так ведь Володька-то Элиночку увидит, опять голову потеряет. Жалко твою-то.

– А ты не жалеешь. Ступай, куда шла.

– То-то он со свадьбой тянет.

– Иди уж, – отмахнулась Нина, берясь за ручку подъездной двери.

Нине было сильно за пятьдесят, и она не пыталась выглядеть моложе: не подкрашивала лицо, не следила за модой. Она ещё не располнела, хотя прицельно за фигурой не следила. Её волосы, теперь совершенно белые, оттеняли крепкий загар лица и рук, который не сходил даже зимой.

Фиму в посёлке не любили. Она трепала языком, будто половик трясла. Побывает в гостях у дочки и обходит поселковцев, всех без разбору, болтает, свивая правду с неправдой, на все лады превознося любимую дочь. Люди презирали Фиму не только за это, а за всё вообще и переносили презрение на Элину, не беря в расчёт толику правды, питавшую материнские рассказы. Сложилось так не оттого, что в родительском обожании есть что-то стыдное. Вероятно, дело в том,

что понимать свое человеческое значение и оправдывать собственную неказистую жизнь, ничего в ней не отлаживая, проще всего за чужой счёт...

Нина вернулась домой и завозилась на кухне. Галя запахнула в пляжную торбу лёгкое покрывало, вышла из дому. На звук клацнувшего замка мать выглянула коридор и с полминуты смотрела в пустоту не потому, что дочь ушла по-английски, а потому, что Фимкина болтовня всё же оживила Нинины сомнения относительно дочкиной жизни.

Нина и Галя – великие молчуны. Поверхностному взгляду источником того виделась суровость матери и давняя самостоятельность дочери. Отчасти это так, но существовала ещё прочная внутренняя связь; они чувствовали друг друга, потому понимали без слов и взаимно доверяли. Между ними многое было не как у всех: не заведены, к примеру, пожелания доброго утра и благодарность за обед. Заменой утренним приветствиям служили молчаливые поцелуи, без которых точно не обходился ни один день, а приготовленный одной из женщин обед был сигналом к действию для другой. Сегодня, например, Галя запланировала «генеральный смотр» и «доведение до ума» семейного огорода. В другой день она встанет к плите, пожарит котлеты и картошку, пока мама ходит на почту. Женщины делили каждодневную обязательную часть жизни на равных, а поскольку их в семье только двое, план действий не требовал обсуждений.

Володя провёл травинкой по лицу Гали. Та поморщилась, но глаз не открыла.

– Не спать, не спать, – озорно пробасил парень.

– Вов, перестань, – отмахнулась Галя и повернулась к нему спиной: меж лопаток отпечатались складки

покрывала и травинки, по ноге куда-то сосредоточенно семенил муравей.

– Галка-а-а, люблю лето, – блаженно выдохнул парень и повалился на спину рядом с подругой, раскинув руки.

Он был мужественно сложен, с развитой грудью и плечами, тёмно-рус, густоволос, с правильными чертами лица. Любуясь его статью, девушки подозревали в нём скрытую энергичность, неожиданность решений, глубину чувств и много чего ещё, и потому считали, что с другом Галине повезло. Но не избалованный девичьим вниманием (или просто не замечавший его), Володя не знал о таком впечатлении, жил своей жизнью и ничего о себе не мнил.

Он любил лето с продолжительными днями, обилием солнца и тепла. Летом всё казалось проще, легче и веселее, да может, так оно и есть.

Нынешнее лето задалось только с июля. Весь июнь лил дождь, что не редкость в этих широтах. Но июль всё-таки расстоялся, сиял и жарил с первых дней и мигом испарил воспоминания о промозглом предшественнике.

Галя и Володя старались отдыхать вместе.

Володя весь год «бомбил» на старом «вольво», не пропуская неудобных маршрутов в промрайоны города и предместья, откуда в ночное время никто в центр не едет, и таксисту нужно возвращаться порожним. Но совестливые клиенты всегда приплачивали за дальность поездки и колдобины. Володю одолевала усталость от вечного недосыпа, болела спина, зато потом на месяц можно забыть про тягости рядом с любимой подругой.

Галя, окончив институт, осталась работать на кафедре геологии. Девушке светила аспирантура, но та пока медлила с решением. Она тоже старалась подбивать

свои дела к июлю, чтобы купаться и загорать в обществе Володи.

Иногда они уезжали в верховья Великой, к легендарным берегам, где русло живописно пересыпано разнообразными по форме, величине и цвету валунами. Через них и между, перевиваясь и подпрыгивая, струятся прозрачно-медовые ленты воды. Луга пестреют и стрекодут, их сложносоставной запах, смешанный с ароматом близкого соснового леса, стоит над берегами незримым душистым куполом. Опоённые и одурманенные природой и друг другом, Володя и Галя возвращались домой на закате. Нынче утомительная жара лишила их долгих прогулок, зато одарила ежедневным утренним купанием. Оба не любили многолюдья и не скучали в уединении. Друзей и коллег им хватало в другое время, а июль – святое. Только вдвоём.

– Слушай, Галка, давай, поженимся, – предложил Володя и, поскольку подруга молчала, стал гипнотизировать её долго и настойчиво, пока она не приподнялась на локтях, повернув к нему лицо.

– Зачем?

– Да... Встречаемся столько лет... Что молчишь?

Галя пожала плечами.

– Давай, подумаем об этом осенью...

Парень почесал затылок и усмехнулся:

– Как-то не так отвечают на предложение о замужестве.

– Ты-то откуда знаешь, как? Неужто мелодрамы смотришь?

– А то, – пошутил Володя, повалил Галю на спину и поцеловал.

Он был знаком с ней целую вечность, но не мог поручиться, что знает её сокровенные мысли и переживания. Володя не понимал, откуда в Гале столько сил, почему она всем нужна, а ей вроде бы никто не нужен.

Даже он привязан к ней больше, чем она к нему. Галя ведь не в первый раз отказывалась выходить за Володю замуж. Их родители это знали, и случалось, шутили над этим, однако, отсутствие брака между детьми в долги друг другу не записывали.

Галя поднялась и пошла в воду. Плавала она так, будто выполняла заданный урок: к дальнему берегу, обратно, снова поворачивала и возвращалась, бесшумно, словно опасаясь нарушить речной мир.

Наконец, она вышла из воды. Володя с удовольствием разглядывал подругу, хотя видел её всю жизнь.

Галя даже внешне производила впечатление надёжного человека: невысокая, прямая, крепкая в талии, она твёрдо стояла на ровных ногах с красивыми узкими коленями. Её жёсткие упругие волосы не хотели укладываться в причёску, разве только в хвост на резинке, и то ненадолго.

– Завтра приезжает Элина. Или уже приехала. – Сообщила она, стоя над лежащим Вовкой и роняя на него прохладные капли.

– И что? – Спросил он, приоткрыв один глаз.

– Подруга наша всё-таки. Слышишь? – настаивала на разговоре Галя, но ей было важно услышать не слова, а интонацию.

– Приехала и приехала, мне-то что, – буркнул Володя. – А вообще, не надо бы ей приезжать.

– Как это, а тётя Фима, а мы?

– Десять лет ей никто не был нужен.

– Тебя это обижает?

– Не особо...

Володя замолчал. Всё, что могло бы высказаться, большей частью перегорало у него внутри. Он открывался далеко не всем и не во всём. Но рядом с Галей с ним иногда происходило удивительное: он вдруг

начинал рассказывать о каких-то своих наблюдениях, да так живо, интересно, что сам себе удивлялся. Сейчас он по обыкновению сказал мало, меньше, чем мог бы, но Галя и эти крохи пропустила мимо ушей. Девушка услышала и прекрасно поняла едва уловимые тоны его речи, какие он, не мудрёный человек, не сумел (и не сумел бы) скрыть. Почему-то мужчины думают, что женщины, «любя ушами», перебирают сказанное и опираются на слова. Никому не приходит в голову, что чуткие умные натуры слушают и оценивают подчас даже и не музыку речи, а искренность исполнения - именно она чаще всего мужчинам не удаётся.

Элькино детство

Уже четвёртый и пятый двухэтажные дома открыли двери для семейных геологов, а у Вовика, Элины (Эли) и Галки сверстников всё ещё не было. Несколькими годами позже приехали ещё семьи, с детьми, у Володи появились приятели, но пацанское братство не отдалило его от подружек. Володя и девочки учились в одном классе, дружили, не поддаваясь насмешкам и попыткам их разобщить.

Так они прожили десять лет, каждое утро преданно дожидаясь друг друга на дворовой качели, чтобы вместе идти в школу.

Случилось в девятом классе, что Вовка, встретив как обычно утром Галю (Эля, как выяснилось, заболела), вдруг понял: двор, школа, дружба, сама жизнь имеют смысл, только если рядом всегда будет Эля.

Едва ли не в тот же день Вовка с ревнивым удивлением обнаружил, что без Эльки скучно жить ещё нескольким юношам из десятого и одиннадцатого классов, и те спрашивают у Галки о здоровье подруги так,

словно они давно и охотно общаются. Неужто у лучших подружек завелись от него секреты? Володя просил об этом Галю.

– А чему ты удивляешься? – Вскинула брови та. – Нормально же, когда девушки однажды становятся интересны парням. Или у тебя другое мнение?

Вовка хмыкнул, изображая равнодушие, но открытие его раздражило. Ему захотелось, чтобы Элька только на него тратила своё внимание, хотя оно ему принадлежало даже больше, чем тем парням. И в тот самый момент открылась важная, но не существовавшая до сих пор для него истина: дружеское внимание – не значит женское. Вовка желал, чтобы Элька нуждалась в нём также и столько же, сколько он в ней, но что нужно для этого делать – не знал.

Со временем утрюмо и жёстко он отвадил соперников и остался при девочке единственным явным воздыхателем, неотлучным и сурово-простым, как тень. Они продолжали дружить, но то была уже не прежняя дружба, а беспокойная, полная новых переживаний, маята...

Элину Бог не обидел ничем, потому единственная мечта, какая могла зародиться в её кудрявой голове, была об артистическом поприще. Мысль эта однажды вспыхнула мощным лучистым протуберанцем и властно подчинила себе душу девочки.

Мечта для жительницы глубинки, правду говоря, запредельная, потому готовиться к избранному поприщу следовало заранее. И Эля, быстрая на решения, начала действовать по своему пониманию актёрской будущности.

Подростком она счастливо избежала неуклюжей угловатости; её движения, жесты, позы были исполнены безотчётной грации. Но с тех пор, как стремление к сцене увлекло юные помыслы, природное изящество

изрядно разбавилось наигранностью и позёрством, – так, по наивному заключению девочки, следовало вести себя актрисе.

Её лицо оставалось привлекательным в любом душевном состоянии. Покрасневшие веки, обветренные губы ничего не портили, – так виделось окружающим, но не самой Элине. Лет с двенадцати она ревностно следила за внешностью и впечатлениями от неё.

Как девочка ни старалась «окультурить» своё коренное обаяние, миловидность и лёгкий нрав неизменно привлекали к ней всевозможных приятелей и приятельниц. Одни вливались в её окружение, другие отдалялись, но сама свита не рассеивалась. Элине нравилось внимание, она знала, что с ним делать. Были и те, кого не интересовал такой вид дружества, кто не испытывал к Эле расположения из зависти или недоверия к нарочитым жестам. Но для будущей артистки это ничего не меняло, да и с возрастом и опытом, обрётённым на театральных занятиях, её наигранность почти перестала коробить.

Элина самозабвенно училась танцевать, занималась попеременно чуть не во всех театральных студиях города, ходила на вокал, учила стихи, поэмы Пушкина, Шиллера, Блока и под чьим-то руководством пыталась читать всё это на память продуманно и художественно.

Страстно поверив в свою звезду, Элина мало интересовалась мнением рабски любящей её матери. Записываясь в студии и на курсы, девочка просто ставила Фиму в известность, сколько будут стоить очередные занятия. Маме приходилось наниматься куда-нибудь дополнительно на полставки мыть полы или посуду. Женщина старалась оплачивать все дочкины затеи, но иногда становилось неважно, и она в отчаянии просила дочь пощадить без того скудные материны силы. Об этом Галя узнавала не только от Элины, но и благодаря зву-

копроницаемости стен и перекрытий, а также зычному голосу Фимы.

Сначала Элина всюду таскала с собой Галю, но та увлеклась пешеходным туризмом и зажила своими интересами.

Володе увлечения подруги не казались важными, но ведь каждый вправе выбирать. Ему, например, с детства нравилась техника. В десять лет он уже умел водить автомобиль и собирал с отцом в гараже мотоблок для семейного немудрящего подсобного хозяйства. По законам дружбы он, когда мог, встречал Элину по вечерам после занятий и провожал до дома...

Галя и Володя

На следующий день после выпускного Элька стояла на подножке вагона. Рядом, хмурясь в сторону, топтался Вовка, ничему не рад. Вчера ещё они всем классом гуляли по городу, на рассвете втроём, обнявшись, топали в посёлок, и радость дружеского единения переполняла мальчишечье сердце, а в полдень Элина позвонила и сказала, что в пятнадцать ноль-ноль отправляется в Петербург. Володю словно ударили лбом о стену. И вот он стоит возле неё, не может, не хочет говорить, ушёл бы, но к ним по платформе мчится Галка, и она просто так уйти не даст.

В их тройственном союзе Галка считалась «надёжным парнем». Совершившая в шестнадцать лет свой первый категорийный поход в Карпатах, она решила, что впоследствии поступит на естественно-географический факультет здесь, в городе и сразу начала усиленно изучать ключевые науки. Главный хранитель дружбы, она умела доходчиво разъяснить Вовке Элькины «заморочки» с театром, улаживала ссоры, последнее время

частые и бессмысленные, потому, может, сто раз права, что не обсуждала с ним Эйкино будущее, о котором, безусловно, знала дольше и больше Володи.

Парень, конечно понимал, что так должно было случиться, только пусть бы не сегодня, когда ещё не верится в окончательность решений. Но сомневаться не приходилось: девчонки последние годы упорно готовились к тому, о чём мечтали, а Володя? Володя просто любил Эльку и ждал окончания учёбы. Теперь он болезненно чувствовал себя скоропостижно разлучённым с детством, хуже того, безнадёжно опоздавшим не на этот – другой поезд, в котором уезжают обе его подруги, каждая в своё будущее.

Появление Гали оживило тягостное прощание друзей. Подлетев, она сунула бумажный свёрток Элине и упрекнула её за то, что та запретила Фиме являться на вокзал. Проводница позвала отъезжающих в вагон. Эля, чмокнув Вовку в щёку, вскочила на ступеньку и пообещала, что разлука однажды закончится.

Разлука не закончилась.

Володя получал от любимой безликие электронные письма-записки, отвечал на нечастые звонки. Сам не звонил: его сигналы почему-то всегда оказывались не ко времени. Элина не приезжала домой даже на каникулы. А к ней в гости Галя поехала без Володи. Тот откалзался наотрез.

Ему требовались ежедневные усилия воли, чтобы чем-нибудь заполнить душевную пустоту. Никуда на учёбу парень не поступил, разве получил водительские права и подолгу пропадал в гараже. Гале с трудом удавалось вытаскивать его хотя бы гулять.

Вскоре связь прервалась и между девчонками. Новая густая студенческая жизнь, науки, интересы заслонили прежние детские привязанности, оставив, однако, добрую по себе память. Для Гали с Элиной это произо-

шло само собой. А вот Володя всё ещё не мог, не знал, как принять в общем-то нормальное течение жизни, и стал попивать.

Родители по-своему решили помочь сыну выбраться из хандры: подарили ему «ниву», но тот ушёл в армию, и душа его на целый год закрылась-затаилась, словно оказалась в яйце, утке, зайце и ларце за семью печатями, как у сказочного Кощея. После службы Володя взялся зарабатывать извозом, таксовал круглые сутки и довольно быстро сменил «ниву» на «вольво». Денег теперь хватало, Вовка стал заглядывать на дно стакана всерьёз.

Девяностые годы-«беспредельщики» закончились, а новая эпоха не настала. Шаткие времена начала века не изменили жизнь поселковцев к лучшему. Геология осталась не востребованной, да и другие производства в городе не возродились, мужчины, не найдя места, запивали. Дети в бедствующих семьях повторяли судьбы отцов. Жёны и матери пробовали бороться с пьянством, но безуспешно. Излеченный возвращался в родное окружение, попойки возобновлялись едва ли не с большим размахом. И становилось яснее ясного, что бороться надо с повальной, всеобщей бедой – не той, которую могли бы поправить наркологи, – но это отдельному посёлку не под силу. Молодые люди пили, гибли в поножовщинах, тонули в реке, пропадали за решёткой и пропадали вообще.

Но Володя выжил. Вытащила его Галка, отличница, спортсменка, верный товарищ. Он зачастую не помнил, что с ним происходило, но когда очухивался, рядом всегда оказывалась она. Постепенно он уразумел, что в ней самое ценное. Качество это, на Володин взгляд, вовсе не женское – она не умела предавать.

Однажды, очнувшись далеко не утром и не дома, он увидел склонившуюся над ним Галю, всю от ресниц,

бровей до волос и шапки убелённую морозным инеем. Она успокоено улыбнулась, и будто разомкнула все замки-запоры в ларце, где он долго и напрасно держал свою душу. Володя хотел что-то сказать или заплакать, но получилось что-то вроде хриплого нытья.

С этого дня медленно и трудно дело двинулось к выздоровлению. Бывало, Вовка думал, что вот-вот умрёт, и лучше бы это случилось, чем терпеть уколы, капельницы и мучиться постоянной изнуряющей тошнотой. Но приходила Галя, и он прятал мучения, заставлял себя держаться молодцом. Душевная боль измололась в лечении, вытеснилась радостью от наполняющих тело жизненных сил. Образ Элины затуманился и отодвинулся на окраину памяти. Володя не спрашивал о ней. В посёлке говорили, будто та побывала замужем не то за режиссёром, не то за оператором. Потом вроде бы развелась. Володе это было уже безразлично.

Костя

Галя и Володя загорали молча, погрузившись вроде бы каждый в свои мысли, а на деле думая об одном – приезде Элины.

Из безмолвного разлада их вывел выбравшийся из ракушечных зарослей пьяный в дым Костик.

– Д...орво... – причмокивая, промямлил он.

– Здорово, здорово, – радуясь неожиданной разрядке, поприветствовала его Галя. – Откуда это ты, такой хорошенький?

– М-м-м... Куда, – прогнусавил Костя.

– Что – куда? – переспросил Володя. Ему тоже полегчало с появлением Кости.

– Не откуда, а ку-уда. В ларёк. Добавить.

– Тебе ещё отпускают? Ты же должен всему белому свету, – удивилась Галя.

Костик молча протянул им кулак, поворотив сжатыми пальцами денежную бумажку.

– Ванька дал.

– Пусть он бы и шёл, – предложила Галя.

– Не может. Ухрюкался. Я один могу. А все там – м-м-м.

Посланец неопределённо махнул рукой и явно хотел продолжить путь, но из вежливости не мог прервать разговор первым.

– Иди уже, – смиловалась Галя.

Костя побрёл, но обернулся уточнить:

– Какой сегодня день?

– Четвёртое. Воскресенье. Двенадцать двадцать.

Костя потряхнул головой в знак того, что всё понял и, качаясь, поплыл своей дорогой.

Галя и Володя переглянулись и рассмеялись...

Не надеясь, не строя планов, он просто рос. Сбегал с уроков, курил в потайках, изредка незло дрался. Закончив школу кое-как, ходил в армию. В геологическом посёлке от службы не бегали. Откупать сыновей было нечем и незачем. Об этом и разговоров не вели.

Вернулся Костик из армии созревшим, то есть, наученным отвечать на обиды. За какую-нибудь незначительную правду он, захмелев, дрался с собутыльниками самозабвенно, а протрезвев, отсиживал за то разные сроки. С каждым пропитым днём кулачные сшибки редчали. Правду сказать, бить рожи и раньше было не из-за чего, а теперь всех буянов объединила нехватка денег: вскладчину проще наскрести на выпивку.

Тупая, неодолимая болезненная жажда толкала пьяную братию на поиски похмела, похмел переходил

в попойку, и так дальше по нисходящей всё более укорочивающимися витками.

За бутылку Костя нанимался к деревенским выгрести навоз, подправить забор, вывезти хлам. Однажды он утащил у матери и обменял на водку набор хрустальных бокалов, потом рюмок. Та обругала сына на чём свет, но могла бы и не стыдиться: Костя больше не таскал – нечего было. Он стал попрошайничать.

Не в пример Володе Костя женился многожды. В промежутках между запоями он обнаруживал себя связанным невесть какими узами с разными девушками, а через краткое время семейного единения также нечаянно оказывался свободным, обременённым алиментами, которые не думал выплачивать, или без них.

Сегодня он, к счастью, очнулся холостым и пил на Ванькины деньги, потому что тот оказался практичнее друга: нашёл себе хозяйку (Спиридониху), гнавшую крепкий самогон. Будучи старше на двадцать лет, она матерински нежно любила мужа, но самогоном не баловала. Продавала. Ваньке же выделяла денег на бутылку-другую дешёвой водки. Лишь в дни особого благоволения позволяла всей компании лакомиться домашним зельем.

– Что ж, пойдём и мы. Надо ещё прополоть кое-что, – сказала Галя, встряхивая покрывало.

Они совершили последний заплыв и пошли к домам. Высокие злаки понурились, чувствуя жар и собираясь с духом дожить до вечера.

Таня

Проходя через большой прямоугольный двор, Галя и Володя кивнули Димаше, щурившемуся от солнца на скамейке.

– Привет-привет, – расслабленно пробормотал тот.

– Ты опять в няньках? – спросила Галя. – Таня на работе?

– В огороде. Всей командой.

– А ты что? Скучаешь? К Тимофеевцам сходил бы.

– Не приехали ещё, – вяло сообщил Димаша, с ленивой перебирая струны вечной его спутницы гитары, растянувшись на скамейке, пристроил гитару на себе и закрыл красивые глаза.

Галка чмокнула Володю возле его подъезда и пошла за дом, где у всех поселковцев были разбиты огорошки, и Галин тоже.

Таня, старинная знакомка по двору и школе, в грязноватом выцветшем халате уже допалывала своё.

– Привет, Галка. Слыхала? Элина завтра приезжает, – проворковала Таня.

– Ага. Привет, Танюш.

– Интересно, как она сейчас выглядит... – мечтательно спросила Таня не то что Галю, которая знала не больше неё, а скорое будущее, в котором оценка образа могла колебаться только между «великолепно» и «баснословно».

– Скоро узнаем. Смотри-ка, твои малышата по грядкам побежали. Василёк! Аккуратнее, морковку затопчешь! – Окликнула шалуна Галя.

– Ой, правда, пойду. Мелкоту кормить пора, – спохватилась Таня.

Скликая детей, отирая косынкой широкое смуглое лицо, она поплыла к дому.

С детства Таня не помнит двух свободных дней к ряду. В нескончаемых домашних хлопотах она не сумела обзавестись сердечной подружкой. Но она не считала себя вправе сетовать на жизнь, потому что в её жизни вообще всего было мало.

Мать родила Таню, чуть-чуть не дождавшись своего совершеннолетия. Через семь лет девчушка стала попечительницей хлопотного подсобного хозяйства семьи: сначала рвала, потом косила для кроликов траву, чистила клетки, меняла воду. Она почти не участвовала в детских играх, но охотно наблюдала за ними из сарая с кроликами. Идеалом красоты, добросердечия, умения находить общий язык со сверстниками виделась ей Элина. Домашние не ласкали Таню, ребята во дворе и школе относились к ней презрительно или высокомерно. Бедняжка подозревала, что она не хуже любого другого подростка, но боялась поверить в это, а о дружбе мечтать не смела. Одна Эля была с ней равно приветлива скорее от равнодушия, чем по доброте, и Таня возвела её в небожители. Таню не удивил и почти не огорчил Элинин отъезд в Петербург, потому что на богов не обижаются, да и где б им жить, если не в Санкт-Петербурге или Москве.

В восемнадцать лет, полностью осиротев, Таня осознала, что ничего, кроме кроликов, в будущем её не ждёт, и стала упорно и регулярно выходить замуж, награждая себя детьми не от каждого мужа, а через одного. К двадцати шести годам она пятикратно побывала замужем и родила троих детей. Мужья уходили, но Таня не проклинала их. Никем с детства не любимая, она понимала любовь как жалость, потому привлекала мужичков бедолажных. Пьющих и гулящих. Натешившись Таниной жалостью, они уходили искать ещё какой-нибудь доли, или, может, запив где-то, не могли вспомнить дороги к сердобольной жене.

Нынешний муж был в посёлке пришлым человеком. Молодец лет двадцати двух, благообразной наружности, с первых дней семейной жизни уверил простодушную жену в его полной неспособности ни к какому делу.

Соседи, однако, прознали, что Димаша – так звала мужа Таня и так со временем стали звать его все, – в недалёком прошлом работал парикмахером. С тех пор он время от времени стриг местных мужчин, беря две-три сотни за причёски любой сложности.

Жизнь Димаша обустроилась наилучшим образом: квартирой вместе с готовой многодетной семьёй, возможностью покупать пиво (ничего крепче он не пил) на собственноручно заработанные деньги и морем свободного времени.

С утра Таня обыкновенно выпроваживала мужа на улицу следить за детьми. Ребяшня рассыпалась по двору, а Димаша поигрывал на гитаре и довольно толково напевал приятным баритоном что угодно.

Его любило всё молодое местное население. Татьянины дети – за полное к ним невнимание, попустительское шалостям и защиту от последствий этих проделок. Девчонки и парни – за музыку (он играл им на заказ любой современный хит). Жена пробовала ревновать, но скоро поняла: ни к чему.

Умилительной и забавной в глазах соседей выглядела дружба Димаша с бабой Верой. Их видели сидящими на скамейке рядком, увлечёнными беседой. Не похоже, чтобы парень просто терпел старушечье бухтение. Он спрашивал, уточнял, прилежно слушал, пока баба Вера не прерывала разговор сама.

Димаша умел недурно декламировать стихи, отрывки прозы, мог своеобразно похвалить поселковскую женщину любого возраста и терпеть не мог матерщины. Он не изменял жене. Время от времени отлучался в город под предлогом отметить на бирже труда, пройти собеседование или встретиться с другом. Таня отпускала.

Поселковские девушки, закрепившиеся в городе, навещая посёлок, рассказывали, будто встречали

Диму в ночном клубе в компании двух-трёх парней. Он никогда не заигрывал с посетительницами, хотя танцевать с ними не отказывался. Возвращался к Тане, беспомощно разводя руками: на бирже глухо, собеседование не прошёл, работа не подвернулась, друзей проводил. Таня ерошила ему кудри, кормила борщом, и жизнь Димаши вливалась в привычное русло.

Тимофеевцы

Скамья, на которой загорал Димаша, почти сразу, с момента появления перешла в его единоличное владение. На неё не посягали даже в его отсутствие.

Сегодня особенно припекало, но Дима не думал уходить в дом. Его маленькие подопечные, что-то замышляя, скучковались под сиренью поодаль.

Во двор, окутанный дорожной пылью, влетел дивно отюнигованный автомобиль. Из его чрева, как джинны из бутылки, в ещё не опавшие пыльные клубы упруго выкатились близнецы Тимофеевы, внуки бабы Веры, кругленькие мужички лет по тридцати с хвостиком. В городе они имели несколько торговых палаток, пользовавшихся неоднозначной известностью. Там продавали пиво, всевозможные газировки, но поговаривали, что и безакцизную водку, и другие рискованные зелья.

Случалось, близнецы Тимофеевцы (так к ним обращались земляки, не разводя по именам) привозили на фургончике ящики с бутылками горячительного, которое местные, понимая или не понимая истинного значения слова, называли «палёнкой». Бутылки сваливали в ближнем лесу в загодя присмотренную ямищу.

Такой день был праздником у местных выпивох. Весть о приезде фургона мгновенно облетала окрестности и

будоражила страждущих. Те вылезали на свет божий и, словно зачарованные зверьки из сказки Сельмы Лагерлёф, влачили к заветной бездне: не всё же ведь разбивалось при выгрузке, могла попасться пара неповреждённых бутылок дарового пойла. Тимофеевцы не продавали «палёнку» в посёлке: люди с деньгами на неё не зарились, бедолаги не могли купить и за бесценок. К тому же они становились соучастниками беззакония, свидетелями, а кому это надо... Так и получалось: все знали про делишки братьев-бизнесменов, но никто не был причастен.

Тимофеевцы не прописывались в своих городских хоромах, а обитали у бабушки, которая радовалась и не радовалась внукам, а правду сказать, не могла отменить не ею заведённого порядка. Вера была немногословна, приветлива и как будто не менялась с течением лет. У растущих, взрослеющих и матерееющих земляков возникало ощущение, что Вера Тимофеева всю жизнь одинаково пожилая. Бабой Верой её звали все, от мала до велика. Она не обижалась.

Выпрыгнув из машины, близнецы разом протянули Димаше короткие красные руки. Братья питали неподдельное расположение к молодому человеку с первых дней его появления в посёлке. Все, кому приходилось пожимать тугие лапы близнецов, делали это в робости или почтении, или едва скрывая брезгливость – хотя её-то братья не замечали; тут был предел их понимания человеческих натур. Один Димаша делал это без значения.

С детства никого ни во что не ставившие, братья радовались Димаше на удивление искренне, щедро одаривали конфетами Таниных ребятишек, зазывали в гости и разными дорогими кушаньями пичкали всю ребячью гвардию. Перед застольем Дима, придирчиво осматривая разносолы, запрещал предлагать малышам острое

и жирное. Тимофеевцы слушались. Парень никогда не менял с ними своего обычного тона, и кто знает, может быть, как раз это нравилось братьям.

Дорога

Элина сидела в вагоне, ещё не вполне свыкшись с мыслью, что едет домой.

Дом. В кратком слове с течением лет незаметно для сердца обобщилось много всего, выходящего за пределы родных стен: Броды, геологоразведка, от которой осталось одно название, всё междуречье, соседний с ним город, луга и лес, и люди.

Дом этот не остался для Эли картинкой далёкого прошлого. Фима не позволила. Она сообщала дочери обо всех переменах в посёлке: скорбных и радостных, смешных и досадных.

Проведя в Петербурге насыщенное переменчивое десятилетие, Элина казалась себе опытной женщиной с масштабностью взглядов, самобытной житейской философией, потому к поселковцам заранее относилась с жалостью и снисхождением.

Вот поезд тихо толкнулся, пошёл, плавно и быстро набирая скорость. Плавно и быстро воспоминания захватили артистку.

Чувства Гали с Володей не только не удивили Элину, но и были ею искренне оправданы. Хотя, пожалуй, первая любовь бесследно не проходит, тем более причинившая парню столько горя. Провинциальная драма, – так назвала эту любовную историю артистка.

То ли по вине семьи, то ли благодаря внутренней природе Эля не знала душевных потрясений и не могла им сострадать. Конечно, терзания по разным поводам у неё случались, но не длились тяжело и долго. Она умела

уходить от волнений. Ей вообще многое давалось без особого труда.

С детства красота и лёгкий нрав Элины привлекали девочек. Те часто соперничали за место в её окружении. Сначала это радовало Элю, развлекало, потом принималось как должное, но лучшей подругой она оставалась только для сильной, доброй Гали. Та всегда первая знала, что, когда и как нужно делать. Галя уходила в походы, а у подруги словно кто костыль отбирал, лишая опоры. Случалось, и Элю другие видели для себя таким костылём, но той быстро наскучивала ответственность. Пришло время, когда будущую артистку стала тяготить правильность лучшей подруги, захотелось доказать ей, а прежде – себе свою жизненную состоятельность. Так что все дороги (амбиции) вели в Петербург.

Учиться сценическому искусству для Элины, в общем, не составляло труда.

Работа по окончании института началась с эпизодических, но окрыляющих успехов. Эля даже видела себя неким открытием, которое вот-вот сделает восторженный театральный мир. Однако, заветный день торжества Элиного таланта не наступал, коллеги остерегали, мол, за лёгкими победами неизбежны затяжные трудности, но молодая артистка не смущалась, объясняла более чем ровное к ней отношение завистью, устаревшими взглядами на современную театральную выучку, недоверием к молодости. Зато она снялась в столичном телевизионном многосерийном проекте, хорошо работала и, пожалуй, обоснованно радовалась качеству своей работы.

А взаимоотношения театром, точно, осложнились.

Как-то на репетиции ей не давалось несколько ключевых реплик. Эля повторяла их раз за разом, сыграть убедительно не получалось, эпизод, что называется,

«не зашёл» ни ей, ни режиссёру, уставшему объяснять, своё видение характера героини. Исполнительница той же роли второго состава, прервав перепапку, неожиданно для всех вдруг проговорила, наиграла сложное место, легко, как бы между делом. Элине вдруг, секундным озарением открылась пропасть между попаданием в роль и глубиной понимания образа. Вспыхнуло-погасло, оставив желание сбежать и где-нибудь в одиночестве воскресить это озарение, хорошенько обдумать, разобрать и запомнить. Тотчас уединиться было невозможно, потом некогда, но ощущение пробела, легковесности и неудовлетворения с тех пор время от времени накрывало её...

Элина очнулась от размышлений, ставших тягостными, и принялась развлекать себя воспоминаниями детства. Душа помягчела, посветлела, словно заново полюбила бедный посёлок. Элина обещала себе, что будет приветлива, отзывчива, проведёт отпуск с пользой для себя и земляков. Закрепив настроение вагонным чаем, она задремала.

Открыв глаза в минуту, когда вагон, дёрнулся и стал, как вкопанный, возле вокзала, Эля улыбнулась, подхватила дорожную сумку и вышла. Всё: она дома.

Дома

Дома Элина попыталась взять тон не то театральной дивы, не то столичной штучки, чем смутила Фиму, и та стала на всякий случай заискивать перед дочерью. Эля не выдержала и съехала на простодушную радость, обошла все комнаты, указательным пальцем бережно погладила часы «котика» в бывшей детской. Они довольно точно показывали время и гулко тикали, вода глазами в стороны.

– Всё как раньше, – повторяла гостя, ласково оглядывая старомодную мебель. – Словно десять дней, а не лет прошло.

– Совсем не как раньше. Обои новые. Двери поменены, – тихо бормотала Евфимия.

Потом они обедали любимыми блюдами. Вернее, угощалась только гостя. Фима смотрела на неё, подмечая перемены.

– Странно тебя видеть дома...

– Хочешь, ущипну? – пошутила Эля и внутренне поморщилась. Ей не нравилось материно настроение, того гляди, заплачет.

– Почему ты бросила Сергея Ивича? – спросила Фима, чтобы справиться с подступающими слезами.

– Сам ушёл. Сказал, что наш брак какой-то ненастоящий. – Неохотно ответила Эля.

– Может, потому что детей не было?

– Были бы, если б он хотел, – сухо ответила дочь, взяла мать за руки и весело предложила. – А давай, я устрою генеральную уборку?

Робевшая до сих пор Фима закивала и заулыбалась.

– Только завтра. Сегодня отдыхай.

– Ага, я к Гале, ладно? Не обидишься? – осторожно спросила Эля.

– Иди уж. Чего мне обижаться? – всё ещё улыбаясь, разрешила Фима.

Эля тут же слетела на первый этаж к Галиной квартире. Не успела коснуться звонка, как дверь отворилась, и артистка с порога попала в счастливые объятия подруги.

Они засели в комнате Гали и принялись восполнять пробелы знаний друг о друге. Элина рассказывала об учёбе, работе, ухажёрах и сослуживцах. И выходило, будто артистка всегда пресекала домогательства нахалов, подлые интриги коллег, а достойные муж-

чины неизменно покорялись её обаянию. Больше того: достойными были именно покорившиеся. Иные, кто избег чар или быстро утешился, получив отпор, оказывались низкими никчёмными людьми.

Галя вникала в дружескую болтовню с разбором. Элькины интриги и романы ничего, кроме неудовлетворённости жизнью, не объясняли, потому не были ей интересны. Но она с живейшим вниманием и доверием слушала о тонкостях работы над ролью, особенностях репетиций, вообще творческой жизни, – словом, то, в чём не имело смысла лгать.

Между тем, гостя, устав рассказывать, оглядела комнату подруги.

– Помнишь, мы тут всю ночь музыку слушали? Один наушник тебе, другой мне... Ой, а гардины те же?

– Конечно. Тебя ждали, – пошутила Галя.

– Хочешь, мы тут всё переустроим?

– Тётъ Фиме переустрой, чудушко.

– Люблю наводить уют. У одной своей питерской подружки, Оли, всё переустроила. Её гости как увидели, меня хвалить стали, а она обиделась...

– Пойдём в наш лес, – неожиданно предложила Галя.

– Ага! Только переоденусь, – щебетнула Эля и убежала к себе.

Она надела перед зеркалом шляпу с прогнувшимися волной полями, повернулась правым, левым плечом. В жизни артистки зеркало играло роль не только беспристрастного советчика. Оно являлось сорежиссёром недалёкого будущего. Вот и сейчас, оглядывая отражение, Элина перебрала, как платья в гардеробе, эмоции, которыми встретит внимание поселковцев, и предпочла ровную ко всем сдержанную участливость (похожую на скромность).

Но на улице здоровались прежде всего с Галей и только потом узнавали гостью:

– Ой, Элина, надолго к нам? – спрашивали все одно и то же, дождавшись короткого ответа, уходили по своим делам.

– Ну, ты чего? – спросила Галина, приобняв погрузневшую подругу за плечи. – Все рады тебе. Просто июль же. Это у нас с тобой отпуск, а у них – огороды, козы, хрюшки. К тому же, они не знают, о чём тебя спросить, да и не походя же...

– Какие равнодушные лица. Ничего им не нужно. Какая-то тишь болотная...

– Это тебе сейчас так кажется, а поживёшь – увидишь другое. Поверь.

Навстречу подругам со скамьи поднялся и поклонился с редкой для современного мужчины грацией Димаша.

– Всё выплакать с единственной мольбою –

Люби меня, и слёз не отирая,

Оплачь во тьме, заполненной до края

Ножам, соловьями и тобою, – продекламировал он.

– Не ожидала, что здесь живёт наивно-страстная душа Федерико, – полуулыбкой ответила подошедшая с Галей незнакомка.

– Дима, это моя подруга Элина, актриса из Петербурга, – сообщила Галя.

– А я уже осознал, что вы не простая смертная. Только зовут меня не Дима, а Димаша с лёгкой руки, ой-ой, языка моей жены.

– Из чего же следует, что я – иная?

– Вы в шляпе. Простые люди шляп не носят.

– Тонко подмечено, – весело заметила Галя. – До свидания.

– До встречи.

Эля взглядом, словно стеклорезом, очертила силуэт Димаша, и тот, вырезанный, отделённый от пейзажа, подался к ней. Актриса усмехнулась и взяла Галю

за руку. Подруги отошли уже довольно далеко, когда Эля обернулась. Дима всё ещё смотрел им вслед.

– Танин муж, – пояснила Галя.

– Ишь ты... Ему восемнадцать-то есть?

– Двадцать два, что ли. Танюхина ребятня его обожает.

– И общие дети есть?

– Нет пока.

– Странная они, должно быть, пара, не находишь?

– Это все находят, кроме Тани.

– И молчат? Кто он, откуда, можно ли ему детей доверять?

– Ну, Элька, творчество из тебя на ходу лезет, – удивилась Галя. – Неужто ты Димашу в маньяки записала? Видела, какой он?

– В самом деле, какой? Дон Кихот и Робин Гуд в одном флаконе? – спросила Элина и задумалась.

Светлый и довольно однообразный сосновый лес, куда ушли подруги, походил на мелководье, где видно всё до дна. Местные жители никогда не боялись этого леса, каждая пядь его напоминала о том, что человек рядом, и что опасность тут может грозить только самому лесу.

Под высокими длинными стволами сосен почти не было подлеска, кроме мха и небольших участков черничника. Невысокие всхолмления были искорявлены окопами, встречались плоскодонные правильной формы углубления, оставшиеся, должно быть, от блиндажей. Скоро век, как войны нет, а окопы, уже неглубокие, обросшие мхом, засыпанные хвоей, всё ещё угадывались.

Одна яма, доверху заваленная разноцветным мусором, просматривалась издалека, оттого лес над ней выглядел особенно жалко, как без вины виноватый.

Дорог в лесу немало, хотя трудно представить, что сюда ездят за грибами или ягодами. То и другое водилось в отдалённых, ведомых заядлыми «тихими охотниками» местах. Вдоль прожатых автомобилями колея подругам попались: истёртый тощий диван, тумбочка с поднятыми краями столешницы наподобие кровли пагоды, скелеты коляски и раскладушки. С трудом сохраняя остатки внешности, бездомные и беспомощные, вещи походили на ограбленных, истерзанных путников. Глядя на них, Эля испытала смесь жалости, стыда и неприязни.

Будто поняв чувства подруги, Галя сказала:

– Я иногда придумываю историю выброшенных вещей. Вот у кого-то в доме обветшал диван. Стоит над ним хозяин, потирает подбородок, думает. Зовёт жену или сына. Выносят, грузят в машину, отвозят диван подальше в лес, как родители Мальчика-с-пальчика, чтоб дорогу обратно к дому не нашёл... Интересно, почему именно эта идея пришла в голову хозяина?

– Ну как... Начитались в детстве Шарля Перро. В сказках же решение всех проблем: стал неугоден – отправляйся в лес. Котов – в лес, щенков – в лес, диваны – в лес! – Торжественно выносила приговор за приговором Элина.

Подруги засмеялись.

Они без умолку говорили о прошлом, сравнивали воспоминания, напоминали друг другу забавное. Воодушевляясь, по очереди забегали вперёд, шли спиной, спотыкаясь и хохоча, отбросив нарочитое и напускное. Пространство прожитого врозь времени постепенно заполнялось событиями.

В большей частью светлом и сухом, но имевшем едва выраженный наклон к реке лесу встречались сырые сумрачные низинки, превращённые ольхой, орешником и папоротником в потаённые чащицы. В одной из

таких округлых низин находилась неведомая торговым проверкам промоина, куда держатели питейных шатров свозили неподотчётный товар, и которая время от времени становилась меккой для окрестных пропойц.

Поселковцы «благословляли» яму на все лады. Тимофеевцев она спасала от штрафов, избавляя, говоря образно, от головной боли, а выпивохам наоборот, причиняла её, но те не жаловались. Зато жаловались жены и матери, но столкнувшись равнодушием хозяев провинции, проклинали ямину смиренно, как стихийное бедствие.

Нынешнее летнее затишье длилось что-то очень долго: никто ничем промоину не загружал – не сбрасывал в неё неучтённый товар. Местные пьяницы время от времени навещали заветное капище. Сегодня здесь были двое. Иван в середине этого сезама сосредоточенно откидывал стекляшки, но ничего путного не находил. На краю ямины на корточках сидел Костик, опершись локтями в колена, а кулаками в скулы, сбив щёки под глаза. От малейшей перемены взора боль чугунными валами скатывалась с макушки в виски и билась, словно просясь наружу. Но голоса и две женские фигурки невдали заставили его медленно и тяжело, точно ржавое колесо, повернуть шею.

Не то, чтобы он видел, а как будто бы понял, что одна из женщин – Элина. Его отуманенное зрение, как могло, сфокусировалось на фигуре – и та выделилась, обрела внятность и резкость, будто в глазке объектива. Округа смазанными нечёткими штрихами вытянулась в направлении Элины. Боль у Костика сбилась в затылок, худая шея напряглась, вздымая подбородок и обтягивая кадык. Поглощённые беседой, подруги никого и ничего не замечали. Ивану в азарте поиска было не до прохожих, и у Костика не нашлось сил и желания обнаруживаться. Он втянул шею, боль вновь ударила

в виски. Бедняга сипло замычал, нагнул голову и сплёл на затылке пальцы ...

Галя и Элина шли своим путём, чуть сблизив головы. Каждый извив пути как будто подкидывал им новую находку: «а помнишь?» Не выбирая направления, доверяясь памяти, они совершили большой неровный круг и вышли в долину Великой, откуда видны задворки посёлка-деревни.

Встреча

С пойменного луга, куда они выбрели, распахнулся весёлый вид на родное поселение. Деревенские домики и геологические двухэтажки кругом устланы зелёными половичками грядок и увиты курчавыми кронами сади-ков. Чуть впереди, в гуще посадок появилась полная молодайка с маленькой, гладко причёсанной головой и стала, ожидая приятельниц.

– Бог мой, Таня! – Воскликнула Элина.

– Здравствуйте, – пропела низким голосом Татьяна и обвела Элину восхищённым взглядом. – Какая ты красивая! Нисколько не постарела, хоть сейчас за парту.

Артистку умилил наивный восторг, ей захотелось показать сердечность.

– А ты, вся в цветочек, посреди садов и огородов – прям богиня плодородия. Ты домой? Пойдём с нами.

Втроём они двинулись в сторону двухэтажек.

Таня улыбалась, радуясь доброму вниманию. Но с детства не приученная к нему и потому не готовая принимать, Таня чувствовала себя неловко, и чувство это усиливалось. Вести разговор – спрашивать, умно отвечать – было для неё нелёгкой задачей. Молодая женщина умела сказать лишь то, что обычно все говорят всем. Но и при этом она терялась, замолкала, опу-

ская улыбку и моргая. Восхищённая и взволнованная неожиданным вниманием, через пару минут она почти хотела, чтобы к ней больше не обращались. Но Элина твёрдо решила проявлять милостивый искренний интерес ко всем землякам и теперь воплощала задумку на Тане.

– Где ты? Как ты?

– Работаю медсестрой в больнице. Трое деток, муж... – добросовестно перечислила Таня.

Галя шла рядом, молчала, давая приятельницам наговориться.

– А я с ним уже познакомилась, – сообщила Элина. – Где ж ты такого красавца обрела?

– В нашей больнице лежал. С переломом ноги.

– Я гляжу, ты не промах, – похвалила Эля собеседницу за женские чары. – Вот причёсочку изобразить – и королева!

Таня промолчала. Она обожала Элю и готова хоть сейчас была на любое преображение. Во дворе своего дома Таня кивнула на подъезд и Димашу.

– Пойду, – не то вопрошая, не то сообщая, сказала она. – Мы увидимся?

– Конечно. Я ж на месяц, – заверила Элина, и, взяв под руку Галю, направилась в свой двор. Таня, в пяти шагах от подъезда пять раз обернулась вслед Элине и Гале. Галя махнула ей на прощание.

Завершающееся солнце подо всё на свете настелило параллельные тени. К дому подруги подбрехали совсем уж медленно, сблизившись головами, шёпотом наперебой что-то сообщали друг другу, раздражаясь залившимся смехом. У подъезда стояла «вольво». Володя сидел тут же на широком пне, служившем жильцам скамьёй.

– Кого я вижу, – воскликнула Эля, разведя руки.

– Кого ты видишь? – Устало откликнулся Володя.

– Вов, – предостерегающе вклинилась в обмен приветствиями Галя.

– Ты что же, не узнаёшь меня? – продолжала добродушничать Элина.

– Это ты меня не узнаёшь. Но так и быть: всем привет, – объявил Володя, подтягивая к себе Галю и целуя ей локоть. – Ты уже получила Нобелевскую премию?

Володя глядел на Галю, а вопрос предназначался Элине.

Та, конечно, заметила, что он избегает смотреть на неё. Чтобы привлечь его, она провела рукой по полям шляпы и спросила:

– Почему Нобелевскую?

– Ну или другую, какую за искусство дают...

– Разные... Мне пора. Спокойной ночи.

– Спасибо за прогулку. До завтра, – услышала Элина за собой голос Гали.

И после уже, на втором этаже через открытое подъездное окно Эля услышала, как Галя сказала Володе:

– Ты нормально-то поздороваться мог?

Послышались звуки отъезжающего автомобиля. В прихожей Элина сорвала шляпу и отбросила в сторону. «О-о-отлично», – подумала артистка, но ничего хорошего на самом деле она сейчас не испытывала. – «Даже не посмотрел в мою сторону. Галку целует. Та тоже хороша: хоть бы осадила хама».

У себя в комнате Элина плюхнулась на диван, сложив руки на груди, посидела так, пробуя унять раздражение. «А чего ты ждала? – Спросила она себя мысленно. В минуты душевного неустройства у Эли в душе появлялись как бы две спорящие стороны. Внешняя – эмоциональная, вечно борющаяся за свои удобства. Внутренняя – более спокойная, взвешенная, знала о жизни больше, чем первая, всегда оставаясь второй. Когда душевного равновесия не получалось достичь ни

одним из преимуществ первой, на ведущие позиции выходила вторая и наводила порядок.

Стукнула входная дверь, послав в комнату воздушную волну. Фима с пучком тоненькой моркови улыбнулась дочери, заглянув в комнату:

– Прогулялись?.. Случилось что?

– Вроде бы ни-че-го... – Проговорила Эля, махнула рукой, отогнав неприятные мысли. – Пошли ужинать.

За столом Фима рассказывала о судьбах знакомых поселковцев. А дочь, рассеянно слушая, думала о своём. Нет, решительно день не задался, внимания к Эле было преступно мало, хотя артистка из Петербурга – весомое событие в маленьком, почти спившемся посёлке.

Фимино счастье

Фимино безмужие было давним, но одиночеством, предательством или вдовством его не назовёшь. Муж Фимы однажды исчез без видимой причины. Месяца через полтора его нашли в соседнем райцентре просящим милостыни у ворот мужского монастыря. Уговоры не помогли: домой он не вернулся.

Жалеть об исчезновении Коли у Фимы не было времени, да и само исчезновение было только завершающим этапом в долгом отчуждении супругов. Когда Эля только-только появилась на свет, муж потерял всякое значение для любимой жены. Некогда у него были амбиции, мечты, которые он положил на алтарь семьи, избрав её самой большой своей ценностью. Но сам он семье оказался не так уж нужен. Фима иногда думала об этом, но вскользь, походя, ведь у неё были задачи поважнее. Ей теперь следовало любить дочь за двоих. Девочка, по-Фиминому, не должна чувствовать отсутствие отца. Эля и не чувствовала, потому что с раннего

детства не видела от него особенной заботы. Отец не интересовался её жизнью, не давал советов, но и не ругал за промахи. Упрекать его за уход из семьи девочке в голову не приходило.

Потеряв работу в геологии, Фима мыла полы в санатории за Молгой. Каждое утро, одолев железный мост, она проходила километра с полтора к своим щёткам и вёдрам, и стремилась поскорее окончить работу. Её равно удивляло и виноватое, и высокомерное нечаянное внимание отдыхающих. Попадались среди них и актёры, и певцы. Иногда они снисходили до разговоров с уборщицей. Фима, поддаваясь доброму вниманию, расцветала улыбкой и сообщала, что её дочь тоже артистка. Как правило, дальше Фиминого признания разговор не шёл: собеседники спешили на какие-нибудь процедуры. Фима не обижалась, тут же умокала, принималась водить шваброй по плитусам. В конце концов, она понимала этих знаменитостей, а вот они её – нет. Мешала столичная спесь, которую считалось хорошим тоном облекать в участливое внимание к санаторскому персоналу.

Сегодня Фима вышла из дому не вся, как бабушка удава из Остеровской сказки, а оставив душу возле спящей дочери. Заключение в мысли о ней, женщина мыла пол «на автопилоте», не слыша приветствий и обращений. Вернувшись с работы, она застала Элину на подоконнике. Та кругообразно водила газетой по стеклу. Фима наскоро переделась и принялась протирать пол там, где мытьё окон закончено. Дочь опустила руки.

– Мам, ну что ты схватилась. Я бы сама всё убрала, – мягко укорила она Фиму.

– Ничего, – ответила та, с нежностью оглядывая дочь. – Пойдём, буду тебя кормить.

После обеда Эля отправилась на реку, где нашла тех, кого искала: Галю с Володей.

– А, вот вы куда исчезаете. Здорово.

– Привет, – буркнул Володя и улёгся на спину, зажмурился и не смотрел на Элину.

Та хорошенько приготовилась к пляжу. Её новомодный купальник прикрыт прозрачно-голубым шифоном, волосы нарочито небрежно собраны в высокий узел. Ключицы по-девичьи изящно приподнимают тонкие ляпочки.

Ещё дома, перед выходом, у зеркала она несколько раз так и этак запрокидывала назад голову, напрягала шёю, ища нужный образ. Теперь, здороваясь с друзьями, она озорно прищурилась и тряхнула головой тренированным движением. Сегодня Элину почти удовлетворило Вовкино пренебрежение. Будь он внимателен к ней, его можно бы заподозрить в равнодушии, а так... Есть простор для домыслов.

Примерно то же чувствовала и Галя.

– Галь, пойдём, искупнёмся, – предложила Эля подруге, краем глаза поглядывая на Володю.

Подруги направились к реке.

Володя, приподнявшись на локте, следил за ними.

Галя зашла в реку буднично, деловито, смело легла на воду. Сильно и быстро взмахивая, она довольно скоро оказалась у дальнего берега и возвращаться что-то не спешила.

Элина погружалась в толщу воды как бы на ощупь, покачиваясь, всплёскивая руками, с несколько наигранной неловкостью. Последовав было за Галей, она вдруг вернулась, вышла на берег и уселась рядом с Володей.

– Чем занимаешься?

– В отпуске.

– Ну да. А вообще?

– Таксист. Бомбила. Сам себе командир.

– Бизнесмен, – пошутила Эля.

– Артист бы из меня всё равно не вышел, – сыронизировал Володя.

– Слушай, таксист, а ты завтра в город случайно не едешь за чем-нибудь?

Володя не ответил. Подошла Галя.

– Чего носы повесили?

– Вот, – пожаловалась Эля, – прошу в город отвезти, а этот не хочет. Друг называется.

– Вов, не ломайся, трудно тебе, что ли? – Попросила Галя.

– Ладно... Отвезу. – Нехотя пообещал Володя.

Привычный отдых скомкался. Сделав вид, что раздражён девичьей болтовнёй, парень попрощался и ушёл, досадуя на себя за то, что согласился везти Эльку, а он вовсе не хотел угождать ей.

Мир

Володя подрулил к дому, и почти тут же вышла Эля в струящемся тонком платье, пахла незнакомо, тоже тонко, едва уловимо, и села рядом такая отчуждённая, что Вовка обрадовался: можно ехать молча, с каменным лицом, просто смотреть на дорогу.

На улице Советской Армии Эля произнесла:

– Помнишь, мы здесь всем классом гуляли в ночь выпускного? Вон там я сломала каблук.

– Угу. И я до рассвета таскал твои босоножки.

Эля прищурилась.

– Выкинул бы.

Володя быстро глянул на неё и усмехнулся. Игра в воспоминания была принята.

Так они и доехали до центрального универмага, беспрестанно вспоминая что-нибудь то возле памятника, то напротив сквера, то на площади.

В центральном универмаге, прихватив пару вещей для себя и мамы, Эля вернулась, поинтересовалась у Володи городскими рынками, будто в самом деле что-то искала.

– Если надо, давай, доедем, – предложил он без лишних объяснений.

– О, нет-нет. Отвези-ка ты меня к собору.

У Кремля, кое-как втиснувшись между экскурсионным и паломническим автобусами, Володя припарковался. К собору они прошли вместе.

Эля не спешила внутрь. Отрогала белёную стену, прижалась щекой.

– Тёплая, – сказала она Володе, словно ребёнок, сделавший открытие, давно известное взрослому.

Володя почувствовал себя старшим и мудрым, узнав наконец-то за напускными причудами нежную, наивную душу подруги детства. Вспомнилось, как стояли они вдвоём в соборе накануне экзаменов. А ведь зашли так, из любопытства. Ребята были далеки от веры, но сжав ладонь подруги, он тогда почти молитвенно думал: «Вот так бы никогда не отпускать её руку». Ему казалось, что она чувствует то же самое. Но ошибся.

Он и сейчас взял Элину за руку и втянул в собор. Она ставила свечи, крестилась перед иконами, а он наблюдал и удивлялся: где женщины набираются знаний о церковных обрядах? Вон, молится так, словно это давняя и тщательно исполняемая обязанность. Где неловкость, где замешательство в порядке подходов к святыням?

Володя потянул её за рукав и шепнул:

– Я к машине.

Элина тоже вскоре вышла.

На обратном пути разговор о прошлом затеялся вновь. К дому они подъехали уже вполне примирённые и довольные друг другом.

– Ну, спасибо тебе, друг! – с чувством произнесла Элина и чмокнула Володю в щёку.

– Да ладно, – небрежно, но без неприязни ответил тот.

Махнув отъезжающей машине, Элина взбежала на крыльцо к подъезду в приподнятом настроении.

В дверях Эля налетела на Костика.

В гостях

Костик был пьян не обыкновенно, а чуток, для храбрости. И одет опрятно. Увидев Элину, он с усилием растянул иссечённое шрамами лицо в улыбку.

– Привет, – поздоровался он несколько чопорно, теребя волосы на виске, словно бы приглаживая вихорки.

– Ах, Костик! – Воскликнула Эля весело.

– Рад видеть тебя, – стесняясь своей радости, сообщил он.

– И я, – откликнулась артистка сердечно, и это было правдой. – Спросила бы, как поживаешь, да без того вижу, какая бурная у тебя судьбина.

Костик рассмеялся.

– А ты живёшь хорошо. Тоже видно.

– По-разному. Ты с каким делом в наш дом?

– Хотел тебя в гости к нам с мамой пригласить.

Эля тотчас вспомнила тётю Женю, сухопарую Костину мать, с узким, докрасна загоревшим лицом. Она всегда работала на двух-трёх работах. Что-то подметала, убирала, где-то торговала и никогда не плакала. Даже когда погибли один за другим муж и два младших сына.

Элина взяла Костю под руку, и они пошли к его дому, ещё дедовскому, старому и просторному. По дороге она убеждала Костю не пьянствовать. Она говорила и

верила в то, что говорила, и понимала, что сейчас сказала самые верные, самые веские слова, и не взять их за основу будущей жизни просто невозможно. Она чувствовала, что спасает Костю.

Опьянённый её вниманием, Костик не мог довольствоваться одним только радостным волнением. Он кивал Эле и облизывал подсыхающие губы. Ему вредно было волноваться даже по радостному поводу: краткое равновесие в организме без спиртного тут же нарушалось и разрушалось.

Возле калитки Эля с чувством пожалала ему руку и погладила по щеке.

В палисаднике над цветами дугой нависала тётя Женя. Увидев петербурженку с сыном, она чуть распрямилась, отерев костяшками пальцев лоб, и улыбнулась так, как человек, давно не ждущий от жизни ничего доброго.

– Здравсте, тётя Жень!

– Здравствуй, Эля. Моего охламона домой буксируешь?

– Не угадали. Это он меня к вам ведёт. В гости.

– Ну и заходи. – Женя прошла вперёд, показывая дорогу.

Через минут пятнадцать на столе появились баранки, шоколадные конфетки и травяной чай. Вкусно запахло лугом: Костик открыл банку с мёдом.

– Как поживаешь, артистка? – просил хозяин, веско-смешно произнося слово «артистка». – Замужем?

– Нет. Тебя жду. Возьмёшь?

– Д... Что ж, за меня-то? – смутился Костик.

– Почему нет? Бросишь пить – и мужик хоть куда.

Костик серьёзно ухмыльнулся.

– Да уж, парочка. Эля шутит, понимай, – назидательно вмешалась Женя в игру, которую хотела прекратить.

Но Костик смотрел в окно, словно в портал иного измерения. Туманная полуулыбка странным образом возвращала ему веснушчатое мальчишество.

– Ты не шути так, – подсадовала Женя Элине. – Этот уже мнит себя героем-любовником.

– Я серьёзно, – настойчиво играя, продолжала Эля.

Женя покачала головой.

Посидели вместе недолго. Костику срочно понадобилось исчезнуть. Потребность в выпивке стала нестерпимой, но зелье надо было искать. В ларьке отныне точно уж не дадут, а Ванькина матрона, пожалуй, вытолкает взашей. В лесных развалах тоже пока ничего нет. Оставалось к Тимофеевым на поклон. По дороге встретился Ванька. Великоопытная жена, сунув деньжат, согнала любимого со двора, чтобы не мешал химичить. В отличие от Костики, Иван категорически не мог надираться в одиночку. Но к Тимофеевым они с Костиком сегодня не попали...

Женя и Элина долго говорили, и гостя получила неожиданное удовольствие от беседы. Евгения не выказала особой учёности (откуда бы ей взяться), но нелёгкая, даже страшная жизнь оставила по себе поразительный опыт, сделав женщину пронизательной, трезво и ёмко мыслящей, без ханжества и настороженности. Женя спрашивала и рассуждала, не сводя разговор к общепринятым банальностям; гостя могла отвечать искренне, умно, не упрощая ответы, и всегда оказывалась правильно понятой. Они вспомнили и детство.

Прилично учась девять лет, к десятому классу Костя «съехал», одиннадцатый закончил кое-как, не имея желания учиться дальше хоть чему-нибудь. Уже тогда он приходил на школьные вечера подвыпившим. С ним случилась до смешного банальная вещь. Как многие парни в Бродах и геологии он тоже полюбил Элю. Но в отличие от них, никогда не пытался дать ей

об этом знать. Девушка не подозревала о Костином чувстве, но и подозревая, ответить всё равно не смогла бы. Впрочем, Женя не искала виноватых. Взглянув на часы (пора собираться на дворничье-охранную работу), она попросила Элю:

– Не подавай ему надежд. Он без того сам себе всё придумает, поверит, а когда поймёт, что обманулся, напьётся. Оно не впервой, но из-за тебя ему будет совсем тяжело.

– Что вы, я его отговаривала.

– Не надо, Эля. – Строго перебила её Женя. – Ничего не надо. Он же не слышит тебя, а видит. Видит твоё в нём участие и Бог знает что воображает. Ему вредны иллюзии. С ними он надеется на то, что когда-нибудь бросит пить и заживёт человеческой жизнью. А он не бросит, и нормальная жизнь для него не настанет. Участь его, если ещё не решена, то твоего равнодушия, предательства, обмана или что там Костя себе нафантазирует, он уж точно не переживёт. С ним нельзя быть легкомысленной.

– Понятно, тётя Женя, – печально пробормотала Элина.

Проводив немного Костину маму, она вернулась домой, устроилась за кухонным столом. Некоторое время Эля наблюдала за Фимой, переставлявшей посуду, и вдруг принялась обстоятельно рассказывать о сегодняшнем дне. Фима оставила возню с ужином, тоже села за стол и тревожно смотрела на дочь.

– Что ты, мам? Гусеницы капусту съели? – пошутила дочь.

– Девочка моя, – начала мать, подбирая слова. – Зачем ты с Володей в город ездила?

– А, да я вот, шарфик тебе купила, – Элина выскочила в прихожую и почти тут же вернулась с цветастым шифоновым лоскутом.

Фима на него не посмотрела.

– К чему это? Думаешь, я не поняла? Ничего не видела?

– Так поняла или видела? – помрачнев, переспросила дочь.

– Володя... Он с Галей. Они скоро поженятся...

– Десять лет думали. Теперь уж наверное скоро, – связвила Элина.

Фима прикрыла рот и вздохнула.

– Зачем он тебе? Неужели в Петербурге дельных, интересных мужчин нет? Подумай, кто он, а кто ты...

– Почему всё должно быть зачем-то, к чему-то?

Мать покачала головой:

– Значит, дело куда хуже, чем я думала...

Володя поставил машину в гараж, но домой не спешил – сидел, выставив ноги из кабины. Он ещё чувствовал невесомый поцелуй на своей щеке. Коротким было касание губ, но долгим оказалось послевкусие... Зачем ему это теперь, когда всё уже перемололось?

Но поцелуй, словно приставший лепесток, благоухал и не собирался вянуть...

Володе не хотелось никого видеть, главное, разговаривать; он сейчас не способен был бы притвориться прежним, обычным. Если и попробует, мать, например, сразу поймёт, что у него на душе смута, начнёт выпытывать.

И Галя поймёт, хотя, может, и не спросит... Идти давно пора, но он медлил пять, десять минут, ещё сколько-то. Потом встряхнулся, проинспектировал идеально уложенные ящички, уставленные шкафчики, полки и запер двери. По дороге к дому уже в сумерках, под окнами бабы Веры он увидел фургон Тимофеевцев. Дома Володя долго мыл руки, потом позвонил Гале. И – удивительно – она не ответила. Спустя час, озада-

ченный Галиным молчанием, он позвонил снова. Оказалось, она собирала красную смородину.

– Я завтра на реку не пойду, – сообщил ей Володя. – Карбюратор посмотреть надо. Сходи с Элькой, ладно?

– Вы часом не поссорились?

– Не... Всё норм. Так вы завтра без меня...

– Да и я не могу. Обещала Танюхе с детьми помочь.

Разговор вышел вроде бы простой, обыденный. Володя выдохнул. Всё устроилось, притворяться не очень-то пришлось. Мог бы вообще про карбюратор не лгать. Хотел успокоить подругу, а она и не переживает, – так думал Володя.

Не так было на самом деле.

Снова в гостях

Элина проснулась утомлённой. Оплескавшись холодной водой, она прибрела в кухню, без интереса заглянула в холодильник, в кастрюлю, хлебницу. Каши не хотелось, хлеба не было.

Артистка поплелась в ларёк. Тот самый, где Костику выпивку не отпускали, детям продавали просроченные сухарики, зато хлеб редко залёживался.

Идти туда удобнее через соседний двор, где на скамье возлежал Димаша. Его гитара безжизненно висела рядом на сирени.

– Где же ваши дети, сеньор? – окликнула его Эля.

– В поликлинике.

Парень ловко спрыгнул, присогнулся в поклоне, прижав руку к груди.

– Моя жена вместе с вашей Галиной увезла их на показ к педиатру. Одной с ними не справиться.

– Почему с Галиной? – Изломив бровь, спросила петербурженка. – А вы на что, светлый пан?

– Сеньор. – Поправил её молодой человек. – Меня в такие вояжи не берут. Что я поведаю доктору о медицинском прошлом малюток?

– Понятно. Ну, я пошла.

– Пойдите две минуты, и я скажу вам, как волшебно лучатся уголки ваших глаз.

Эля со значительной миной покивала головой в знак того, что игра оценена. В эту минуту из девятого дома вышли братья-предприниматели. Узрев Димашу, они ослабились добродушнейшим образом и подоспели с приветами.

– Здорово! – Чуть не хором гаркнули мужички и разом протянули ему руки.

Дима пожал их накрест одновременно. Те ничуть не смутились. Элина почувствовала себя невидимкой и не знала, уйти или остаться.

– Гуляем сегодня, – заявил один из Тимофеевцев и тут же спросил у всех присутствующих. – Гуляем сегодня?

– Есть повод? – спросил Димаша.

– Ага. Партию левака загнали. Приходи. С ребятами. Димаша не ответил, кивнул на незнакомку:

– Знакомьтесь: Элина, актриса из Питера. Получше представить не могу – ничего более не знаю, уж извините.

Извинения относились к девушке, но братья, не разобравшись что к чему, хором весело громыхнули:

– Извиняем. Её тоже бери. Приходите, Элина. Замётано. Мы – за кормом.

Красношее братья вскочили в свой крепкий лобастый автомобиль и лихо газанули.

– Что это было? – спросила артистка.

– Мои вроде как приятели. Тимофеевы.

– Приятели – предприниматели, – подытожила Эля, когда Димаша вкратце рассказал ей о знакомцах.

Она не хотела соглашаться идти в гости, но парень взял её за руку.

– Пойдёмте, не для них – для меня.

Его рука чуть вздрагивала, и непонятно было, сжимает он её кисть или нет. Тёмные Димашины глаза (что странно при крайней белобрысости) блуждали из одного её зрачка в другой. Элина отняла руку и согласилась.

Принеся домой буханку, она села за стол и задумалась. То, что сегодня произошло, забавило и где-то льстило. В её жизни такого было полно, но любопытства никто не отменял.

Ближе к обеду пришла с работы Фима и застала дочь в задумчивости, с объеденной буханкой.

– Чего сидишь? С Галей на речку не собираешься?

– Она в городе.

– Да вернулась уже.

Элина поджала губы. Она – Танин кумир с детства, но та попросила о помощи именно Галю. «Тимофеевский вечер будет кстати», – подумала артистка. По красивому лицу блуждала неопределённая улыбка.

Трёхкомнатная Верина квартира похожа на рубашку: к большой гостиной с противоположных сторон примыкают две комнаты поменьше. Узкий коридор и крошечная кухня прилепились к «рубашке» как бы с подола. Из прихожей вели две двери: одна – в кухню, другая – в гостиную. Здесь располагался старомодный овальный стол. На нём казённо пахли кури гриль, розовели ветчина и колбасы, меж ними стояли фасовки с салатами, вскрытые банки с оливками, бутылки газировки и водки, все открытые и все начатые. Россыпью лежали хлеб, пирожки, печенье, конфеты, фрукты. Ничего домашнего. Банальное обилие.

На диване возле стола сидели Тимофеевцы. Напротив – Димаша с гитарой. Слева между ним и хозяе-

вами возились Танины ребяташки. Один за другим они по очереди оказывались на коленях у Тимофеевцев. Те им совали печенье, пирожки или фрукты. Справа от Димаши сидели Элина и Вера, которая исчезала, появлялась, что-то подносила, что-то убирала со стола, заменяла одно другим. Никто, кроме гости, не обращал на неё внимания. На Элю, впрочем, тоже. Это казалось ей странным. Артистка чувствовала себя лишней и начинала нервничать. К тому же она не знала, что бы из снеди проглотить.

Никто никого не потчевал; гости утолялись в своём ритме.

Хозяева пили и ели чинно, без спешки. Димаша чокнулся с ними один раз и остальное время предавался тихой своей гитаре.

Эле не нравилось здесь и удивляло прилежное внимание, с которым тридцатилетние мужи слушали всё, что исполнял Димаша. Уважительным восторгом они, словно инопланетяне, равно награждали и «Песенку крокодила Гены», и «Белую берёзу».

Но когда парень исполнил «Отговорила роща золотая», хозяева горестно переглянулись, обхватили друг друга за шеи и стиснулись лбами. Какое-то время они молча сопели, багровели, вероятно, от сильного волнения.

– Вот, – со значением произнёс, наконец, один из братьев, протянув ладонь в сторону исполнителя. – Вот искусство. А ты говоришь: артистка.

Последние слова назначались Эле, хотя та не произнесла пока ни слова.

– Я не певица, хотя спела бы. Я – актриса. Это тоже искусство. В театр ходят все культурные люди...

– А некультурные? – перебил её другой Тимофеев, выловив из посуды щепоть квашеной капусты. – Они в театр ходят? Знают вас? Плачут над вашими героями?

– Верно, – поддержал его брат. – Искусство должно быть массовым, как Димаша. Выпьем.

Исполнитель тем временем наигрывал «Гори, гори, моя звезда» и не участвовал в беседе.

– Уважаемое собрание станет говорить об искусстве? – насмешливо поинтересовалась Эля.

Тимофеевец с капустой спросил:

– Почему нет? Я ещё могу поговорить о структуре потребительского рынка, а ты можешь?

Эля не могла и понимала, что беседовать с ними об искусстве тоже не станет. Она хотела уйти, но хозяйева запротестовали:

– Пришла – сиди. Мы отдыхаем.

Димаша шепнул: «Побудем ещё. Прошу. Ты не видела самое интересное».

Для детей, и чтоб успокоить Элю, певец исполнил песенку на стихи Агнии Барто о забытом щенке. На мужичков она произвела впечатление, может, большее, чем на ребяташек, и они выкарабкались из-за стола, чтобы поцеловать Димашу в макушку. Бросив взгляд на красивую Элю, один из них выдал:

– Вы все за деньги ложь играете, продавая её в облезлом зале, который я хоть завтра куплю с потрохами. А он – не играет. Он так живёт. Не мусолит вечные идеи, возвышенные чувства. У него – правда.

– А вы что в бутылках продаёте? Разве не ложь, не иллюзии пополам со смертью? – Вспылила Элина. – Высокие идеи ничто по сравнению с высокой прибылью, так?

Тимофеевцы переглянулись. Димаша резко ударил по струнам и громко сказал:

– Дети, не хотите ли погулять? – И стал выпроваживать малышей.

– Ты на что намекаешь, безумная Офелия? – нахмурился один брат, который, видно, повспыльчивей. Второй, поспокойней, его перебил:

– Нас лозунгами не проймёшь. Не таковы. Брось, не зли.

– С тем и до свиданьица, – поклонилась артистка, выбираясь из-за стола.

– И тебе не хворать, – раздалось в ответ.

В прихожую за Элей выскочил Димаша.

– Элина, послушайте, мне необходимо видаться, разговаривать с вами.

– Вы, кажется, женаты, – напомнила ему Элина, уже с трудом сдерживая гнев.

– Бог мой, я ж вам не руку и сердце предлагаю.

– А что вы мне предлагаете? – зло-насмешливо спросила девушка. – Лучше бы жалобу на этих упырей написали. Терпите, травитесь, в глазки им заглядывайте. И с таких спесь можно сбить, увидите.

Дима не ответил. Он всё время держал её руку, а она не отнимала. Когда они оба одновременно обнаружили это, он отпустил. Элина ушла.

На улице царили сумерки, та летняя полумгла, которая в этих краях долго не сгущается в ночь.

Молодая женщина быстро шла, почти бежала через двор. У дома она столкнулась с Володей.

Не понимая, что делает, она схватила его за плечи и принялась торопливо, волнуясь, рассказывать ему о происшедшем, словно она всё ещё имела право на его участие.

Друзья побрели к реке, потому что Элине следовало успокоиться, – так объяснил себе это решение Володя.

– Да, куда ты шёл? Я тебе помешала? – спохватилась Эля.

– Нет, – соврал Володя, хотя шёл к Гале.

Они долго ходили вдоль Великой. Володя поведал и о делишках бизнесменов, что знал, и о яме, куда ползают выпивохи в поисках дарового зелья.

– Да уж... Почему же вы тут все молчите? Надо заявить, куда следует.

– Что ты как маленькая: заявить, заявить. Думаешь, не пробовали?

Он усмехнулся некстати, прижал подругу к себе и понял, что не отпустит. Элина смотрела на него так, как он хотел, а не как всегда. Володя наклонился, поцеловал её долго и жадно...

Элина спешила домой, легко, словно летела по воздуху. Тёплый нежный вечер всё ещё обнимал её Володиными руками. Ей было хорошо и совсем не совестно, но проходя мимо Галиных окон, взглянуть на них Эля всё-таки не посмела.

Она тихо отворила дверь и на цыпочках прошла бы к себе в комнату, но почувствовала, хоть ничего не слышала, что мама не спит.

Фима сидела в гостиной с несчастным лицом, прижимала руки к груди.

– Чего ты?

– Ничего, дочка. Палец когда-то занозила, теперь нарывает. Руку ни опустить, ни поднять... Как завтра шваброй махать?

– Не ходи, – сердечно попросила Элина. – Возьми больничный. Нарыв – не шутка.

Фима грустно улыбнулась.

– Иди спать, родная. Я перевяжу руку да лягу.

Эля порывисто обняла её.

– Завтра куплю тебе лекарства и ничего не дам делать.

Мать легонько погладила дочь по плечу.

Прежде, чем отпустить Элю в блаженный сон, память ещё раз устроила ей круговерть недавних воспоминаний и закончила полевкусием поцелуя.

Всеобщая тайна

В поселении, где все друг друга знают, трудно скрывать счастье. Скоро поселковцы открыли любопытную закономерность: если в посёлке нет Володи, то нет и Элины. Вычислилось это непонятным способом, само по себе, словно сорока на хвосте принесла.

Неделю Володя не виделся с Галей.

Если он звонил, отвечала Нина, и оказывалось, что Галя то в городе, то у тётки Жени, то кому-то что-то пошла относить.

В небольшом поселении, где все видятся со всеми по десять раз на дню, Галя и Володя за неделю встретились дважды и то случайно.

– Привет, Галь, чего не звонишь? – спросил Володя для того, чтоб самому не отвечать, если та вдруг спросит.

– Некогда, – деловито сообщила она, глядя мимо его лица. – Маринады, поздняя поливка, сам знаешь. Вчера с работы звонили, надо будет выйти.

– И я опять за рулём. Деньги нужны...

– Понятно... Ну, я побежала, не сердись: дела. Позвоню как-нибудь.

Вовка двинулся к Галиному дому, несколько раз обернулся, но Галя уже исчезла, а в окно на него глядела суровая Нина.

«Они знают», – подумал Володя не то равнодушно, не то окончательно понимая и принимая положение дел.

Рано утром Володя выезжал на работу, днём, по договорённости, подхватывал Элину на какой-нибудь остановке. Они уезжали за город, часто на лесные озёра на остаток дня.

Однажды Володя с Элиной провели день в верховьях Великой, на порогах, где на разновеликих валунах

посреди русла стояли бакланы с чёрными масками на головах, похожие на грабителей из чудаковатых криминальных комедий.

Друзья ушли туда рано утром, через лес, прихватив немного снеди. Они бесцельно бродили, часто останавливаясь. Он целовал её лицо, не умея высказать своего упоения. Элина всегда первая обрывала поцелуй и отворачивалась.

– Почему?

– Дышать нечем, – ласково бормотала она, и Володина душа переполнялась зноем, солнцем, летом. Жить становилось легко и понятно.

Они забрались на высокий плоский валун посередине реки и стояли, обнявшись.

– Почему ты, когда мы дружили, не посвящала меня в свои планы?

– Гм... Стоит ли сейчас об этом.

– Я чуть не умер от пьянки, а ты говоришь, стоит ли.

– Для девочки восемнадцати лет, из глубокой провинции, без связей, план был, конечно, бредовый. Другая мама пустилась бы отговаривать, но не моя: любой мой каприз для неё закон. А ты бы отговаривал, убеждал. Может, я послушала бы тебя и потом всю жизнь корила за то, что не дал рискнуть.

– Ты была замужем?

Эля насмешливо посмотрела на друга:

– Что за вопрос?

Володя хмыкнул.

Разговор, слово за слово, перекинулся на Тимофеевцев. Элина не скупилась не презрительные эпитеты для близнецов.

– Далась тебе наши братья-коммерсанты, – возражал Володя. – Разве только они на земле грешники?

Эля не ответила. В самом деле, почему она взъелась на них? Пожалуй, не тёмные делишки братьев тут при-

чиной. Тогда что же? Нагло утверждали, что искусство должно быть для всех? Но они не единственные, у кого нет авторитетов, и кто судит-рядит о том, о чём не имеет понятия... По правде говоря, дело в равнодушии. Братья разговаривали с гостьей без уступок её красоте, женственности, профессии (главные Элины козыри), не выказав того поклонения, на которое, как она считала, имела право. Артистка могла бы петь, читать стихи, но вечер устроился так, будто не она оказала хозяевам честь своим приходом, а они сделали ей одолжение, пригласив. Даже не ей – Димаше, вот что обидно. Да-а... Женственность как оружие тоже иногда даёт осечки.

Элина выясняла отношения с собой, а рядом стоял Володя, любящий полно и широко, с трудом удерживавший это море в себе, и не понимал её притязаний, не понимал, как она может испытывать нечто, не то же самое, что и он. Это была его всегдашняя ошибка. В юности он также упивался чувствами, и когда Эля уехала, не смог принять того, что в её душе оказалось столько места для всего: Петербурга, театра, какого-то мужа. А у него с трудом отыскивалось место для Гали. Отыскивалось ли...

Володя и Элина возвращались домой, то и дело оставиваясь для поцелуев. Близ огородов они не сразу заметили, что в их сторону, прикрывшись ладонью, смотрит Таня. Встретившись с Володей взглядом, Таня опустила руку, склонилась к грядкам, но тут же выпрямилась и поплыла к домам. Влюблённые запоздало прянули друг от друга и вошли в посёлок каждый сам по себе, не зная, что днём раньше их объятия видел ещё один человек...

На следующее утро Эля пришла к Тане домой. Та доваривала борщ в огромной кастрюле. По неприбранной

квартире плавали густые, сытные запахи. Незванная гостья поморщилась. Хозяйка обмахнула тряпкой табурет и подала Элине.

– Садись пока. Я сейчас закончу.

– Спасибо, постою. Если ты управилась, давай пройдемся. Да, а где твои?

Таня вытерла руки о передник.

– В Синюгино на почту с Димашей увязались.

– Ну, так прогуляемся?

– Мне в сарай бы... – неуверенно попросила Таня.

– Я провожу.

Сарай теснились там же, где гаражи. За посёлком со стороны леса.

– Ты счастлива? – спросила Элина.

Таня пожала плечами.

– У тебя дети, муж, хозяйство. Времени на себя совсем нет. Но когда-то ж надо нарядиться, подкраситься; мужа порадовать.

Таня внимательно посмотрела на артистку: что-то мешало обожать её. Молодая женщина не умела копаться в ощущениях, но чувствовала, что Элин интерес к ней – не простой.

Таня опустила голову, нахмурилась, пытаясь думать, но артистка не дала:

– Давай-ка, проси своего маэстро отпустить тебя в город. Мы с тобой в салон красоты съездим. Причёску там, ноготки, макияжик...

– Дорого, – виновато улыбаясь, пыталась отнекиваться Таня.

– Ну, тогда хоть причёску. Макияж я сама тебе нарисую. С удовольствием. Димаша твой обалдеет.

Последние слова вернули Тане блаженное расположение духа. Она вспомнила мягкие белые кудряшки мальчика-мужа, ей захотелось по-матерински её погладить.

Есть люди, которым, чтобы ощущать полноту и прелесть жизни, потребно душевное волнение. Но Тане не столько для полноты жизни, сколько для чувства защищённости, надобился душевный покой. Он действовал на неё, как на сердечника капли. Таня гнала от себя тревожные мысли, не думала много, вперёд не загадывала. Успокоила она себя и насчёт питерской гостыи.

– Решено? Володя нас завтра отвезёт.

Упоминание о Володе уже ничего не шевельнули в Таниной душе.

- Ага. Попрошу завтра Галю сводить детей на речку.

На том расстались. Таню уже занимал сарайный скарб, а Эля побежала домой. Она не хотела где-нибудь столкнуться с Галей.

Триумфальное возвращение

Галя увела детей купаться. Оставшись один, Танин муж занялся размышлениями. Сегодня ему не хотелось лежать с гитарой под сиренью. Инструмент сиротливо стоял в углу, как провинившийся шалун.

Пару дней назад Димаша с утра бегал в ларёк за пивом и видел Элю с Володей обнявшимися совсем не по-товарищески. Теперь его мучил вопрос: «Сказать об этом Гале?» От жены он знал, что Галя когда-то спасла Володю, да и кого в посёлке она не выручала? Сначала Димаша думал, что не должен играть роль судьбы. Неизвестно, к чему это приведёт, какое горе будет камнем лежать у него на сердце всю жизнь. Потом решил, что всё-таки должен открыть Гале глаза, потому что уважает её, и покрывать оскорбительный для неё обман нечестно. Но почему эти двое сами не признаются подруге, ведь никого из них не связывает брак, дети? В то же время Димаша решительно не пони-

мал, почему его вообще волнует их история. Ему нравилась Элина, но скорее эстетически, как нравились картины в выставочном зале, куда в раннем детстве его водила мать. В минуты искреннего гнева в гостях у Тимох Элина была действительно прекрасна в неподдельности чувств и грации. Он хотел бы любоваться ею, но не сумел объяснить этого, да она его не поняла бы. Ничего не решив, он пошёл на реку отыскивать Галю с детьми.

С реки взрослые и дети возвращались, усталые от солнца, голодные, и уже решили, что пообедают вместе Таниным борщом, но увидели «вольво».

– Пообедаем как-нибудь в другой раз, – с грустной улыбкой сказала Галя и поспешила уйти, так что открывать ей правду, понял Дима, уже не имело смысла...

Таня увидела себя в зеркале и не поняла, какая она теперь: красивая или ужасная. Элины пояснения насчёт завитков, которые как-то по-особенному открывают Таню окружающим, не очень помогали в оценке себя новой. Она видела в зеркале одно, слышала от подруги другое и в итоге предпочла поверить словам. Торжественно, словно боясь растерять своё величие, Таня вышла из парикмахерской и осторожно погрузила себя на заднее сиденье «вольво». Дорогой она молчала и по обыкновению почти ни о чём не думала. Но когда подъехали, и она увидела Димашу, радостное волнение охватило её.

Эля открыла дверь авто с торжественным видом.

– Сеньор и дети, встречайте свою любимую супругу и маму!

Таня вышла, осторожно неся голову, на которой громоздилась высокая причёска. Глаза под коротенькой чёлкой светились гордой глупостью. Ей казалось, что она победно смотрит на мужа. Она и смотрела, но не

видела, как удивлённое выражение его лица сменяется разочарованием, жалостью, обидой, едва ли не болью.

Это не укрылось от Элины. Ей даже почудилось, что Димаша сейчас расплачется. А ведь Эля была уверена, что Татьяна ему совершенно не интересна как женщина, он просто снисходителен к ней, а где-то и презирает. И вот... чуть не слёзы... Элине стало досадно, словно её ткнули носом в какой-то просчёт. Она всегда жила с ощущением собственной правоты и превосходства: если шутила, то смешнее и остроумнее всех, если помогала, то её помощь оказывалась самой действенной, и, конечно же, самой желанной, а если в чём-то ошибалась, это тянуло всего лишь на маленькое недоумение. Кто-то мог видеть происходящее иначе, люди могли быть друг для друга большей ценностью, чем Элина для них, но всё это не входило в зону её размышлений. Элиной гордости хотелось, чтобы Димаша как-то иначе принял преобразование жены.

«Японский бог, какое унижение», – думал между тем Димаша.

Надо было исправлять положение, и Эля бодро спросила:

– Что, сударь, молчите? Где ваше восхищение?

Молодой человек посмотрел на неё, словно не узнавая, склонил голову, прижав руку к груди. Так и не проронив ни слова, он увёл Таню и детей в дом, а Эля направилась к своему дому, забыв про всё ещё сидящего за рулём Володю.

Два открытия

Костик встал после нескольких дней беспробудного пьянства, но не очухался. Всё ещё мучимый отравой, прислушивающийся к изболевшемуся нутру, он без

цели бродил по главной деревенской улице, точно оглушённый. Отроду узкий, нескладный, в футболке (одежда любого размера на нём выглядела великоватой), перекатывающейся волнышками при неровной ходьбе, как будто под ней нет никакого тела, и в таких же штанах, Костик походил на изнурённого каторжника. Смотреть на него было тяжело.

К вечеру память бедолаги включила обрывки воспоминаний. Ярче всех были первые, до запоя.

– Ма, где Элина? – спросил он, словно только вчера артистка сидела с ними на кухне.

Для Жени за десять дней прошло куда больше времени, приход Эли стал уже бледным воспоминанием.

– Не знаю, – отмахнулась она и добавила. – Галя заходила, номер телефона хорошего врача записала.

– Зачем врач? – задумчиво промычал Костик.

«И то, зачем?» – повторила про себя Женя, вслух тускло произнесла:

– Не зачем, а кому. Тебе. Лечиться поедем.

Оба знали, что это ни к чему: пробовано многое и не по одному разу. Начиная с сегодняшнего дня Костика полегчает на недельку или около того, а потом всё будет по-старому.

– Пойду. Поищу её.

«Зачем?» – опять подумала и не спросила Женя. Увидев Костю с Элиной, она поняла, что тот всё ещё любит. Только на самом-то деле никакая это не любовь, а причина напиться. Можно сказать сыну, что его любовь – иллюзия, но нельзя убедить, что кроме чувства есть жизнь, которая важнее и нужнее им обоим. Себя Женя больше не терзала: что сделала не так, чему не научила, от чего не остерегла? Ответы уже найдены. Для более глубоких размышлений нужно иметь чуть больше отдохновенных часов, чем у неё в обыкновении. Евгения работала в трёх местах, пласталась на двух ого-

родах, видя, что лучше всё равно не живётся, но не бросала – насада избавляла её от страхов, жалости к себе и, как ни странно, подстёгивала практическое мышление, заставляла строить планы, принимать решения...

Костику за несколько дней заметно полегчало. Он уже не просто слонялся по посёлку, но и останавливался перекинуться с кем-нибудь словцом, и с каждым прогулочным кругом ближе подбирался к Элиному двору, а подбравшись, сидел там на пне у Нининого палисадника. Ждал.

К десятому часу вечера ему изрядно надоело торчать возле чужого подъезда.

– Ты чего здесь? – спросили Костика не менее десятка проходивших мимо знакомых.

– Загораю, – чаще всего отвечал тот.

Подошла Нина с подойником (только подоила корову).

– Молоко будешь? – кивнула она сидельцу.

– Неа, – мотнул головой тот и пошёл к себе. Женя просила его поправить крышу на курятнике. Почему ж не теперь, дневной зной всё равно никому до вечера не давал заниматься хозяйством как следует.

Костя залез на курятник, осмотрел дыру в рубероиде, которым крыта постройка. Оттуда он заметил двух знакомцев, возвращавшихся с реки. Володя дошёл подругу до проулка, обнимая за плечи и целуя в висок. Элина то отстранялась, то льнула к спутнику.

Костик забыл о дыре, курятнике, самом себе, – весь превратился в громко бухающее сердце. От желудка к гортани поднималась жгучая волна, словно кто-то бросил туда горящую спичку, а Костик, не мигая, смотрел, пока парочка не скрылась в доме...

Элина втащила друга в свою комнату, едва тот успел крикнуть невидимой Фиме «здрате».

– Вов, отвези меня завтра...куда следует, – начала Эля, толкнув Володю на диван.

– Это куда? – не понял тот.

– Ты знаешь, – ответила она с нажимом.

– погоди, погоди, дай сообразить, – нахмурился друг. – Ты не оставила своей безумной мести Тимофеевцам? Мой ответ: нет.

– Тогда я поеду сама. А тебе следовало подумать о Гале. Не стыдно водить её за нос? – с некоторым издевательским удовольствием произнесла Элина

Володя наклонился вперёд, сцепив руки. За пару недель он действительно почти не виделся с Галей, но и она не искала с ним встречи. Гале всё известно, как и всему посёлку, но почему та не пытается прояснить положение, вытребовать у Володи серьёзного разговора, какой-то ясности, обещаний – так делали почти все знакомые ему женщины, даже мать, разводясь с отцом. Но он не стал объясняться на эту тему с Элей. Сейчас важно было как-то образумить её:

– Элька, в милиции тебя попросят указать фамилию. Не боишься, что Тимохи наедут, когда узнают, кто на них настучал? У братьев везде дружба, понимаешь? Другое опять же: в нашу яму окрестные дельцы перед проверками свозят всё палёное, левое, неподотчётное, или как там их «добро» называется... Но в какой-то степени даже хорошо, что зелье не осталось на прилавках, значит, куча народу не траванулась. Я бы понял, если б ты за таких, как наш Костик, переживала, но твоё м-м-м... ущемлённое самолюбие – блажь. Зачем ты вообще тогда к ним в гости пошла? Хорошо, пусть не знала, но ведь разобралась же, к кому собираешься в гости, могла бы отказаться. Что тебя к Тимохам понесло? Женское любопытство?

– Во-от, как мы заговорили, – протянула Эля с угрозой в голосе.

– Родная, ну, хочешь, я им просто рожи расквашу?

Эля не ответила, но, помолчав, вдруг сказала:

– Как насчёт Гали?

Володя вздохнул. Похоже, предстоял трудный разговор. Отпуск у всех троих скоро кончится, а что потом?

В дверь позвонили. Эля, приложив палец к губам, – жест назначался Володе, – пошла открывать. На пороге стояла Галина.

– Добрый вечер, – ошеломлённо пролепетала Эля, не успев надеть какую-нибудь из своих артистических масок.

Из кухни к ним в коридор уже семенила Фима:

– Это ко мне, это ко мне, – и стала меж Элей и Галей, поднимая перевязанный мизинец. – У меня палец, палец.

Галя спокойно пояснила, проходя за Фимой на кухню:

– Я мазь Вишневского принесла.

Галя побыла недолго. Дверь за ней закрыли осторожно, с улыбкой благодарности и вины. Едва она ушла, Элина заявила Володе:

– Если ты не едешь со мной, я доберусь одна. И точка.

Володя слабо кивнул, поднялся и вышел. У Галиной двери он помедлил. Позвонить? Что сказать? Ни на что не решившись, он отправился в гараж.

Скрежетнула дверь, впуская хозяина в атмосферу любимых запахов и вещей. Володя вкрутил лампочку. Дежурный свет полоснул по глазам. Володя любил гараж, если это слово применимо к тому, что чувствовал молодой человек. Единственное место на земле, где он мог быть абсолютно уверен в себе, в каждом своём поступке и решении, где всё понятно и посильно, – был гараж. Здесь никто не мешал Володе в его беспокойстве.

Нет, не Эля тому виной, она лишь попыталась заставить Володю, что называется, вытащить голову

из песка. Тот гнал от себя мысли о Гале. Это, в общем, получалось в упоении ожившим чувством. В последнее время, увидевшись с Галей мимоходом раз или два, он испытывал неловкость и рад был тому, что разговор в итоге выстраивался вокруг каких-то других вещей. Подспудно мысли о Гале подтачивали его счастье, и вот – стена, тупиковая, как бы в конце коридора, по которому они – хотели, не хотели – шли втроём. Поначалу казалось, что впереди, в длинном пространстве ещё есть место и время, чтобы поговорить о главном, а теперь у воображаемой стены уже нет ни места, ни времени: пора прерывать молчание. Ему до сих пор мало что приходилось Гале объяснять – она своего друга неплохо знала, лучше, чем он сам себя. Замуж вот идти отказалась... Но все её старания для него тоже ведь что-то значат. Конечно, им нужно поговорить, а что нового он ей откроет? Эля подняла его на небеса, но, как прежде, небес с ним ей оказалось мало – он ощутил это сегодня, очередной раз, хотя не скрыто было с самого начала. Её ждёт Петербург. Даже если Володя попросит, даже если заболит Фима или камни начнут падать с неба, Элина уедет. А как же он? Володя не знал. Тупик...

В итоге Володя ничего не решил, но дал себе очередное крепкое обещание, что объяснится с Галей. Завтра.

Галя вышла из ванной. Нина окликнула её.

– Ничего не хочешь сказать? Что у вас с ним происходит?

– По-моему, всему посёлку прекрасно видно, что. Почему ты спрашиваешь?

– Вы объяснились?

– Мам, – усмехнулась дочь. – Ты как это видишь? Вовка с Элей падают мне в ноги, заклиная простить и благословить?

– А ты считаешь, что за десять лет не заслужила хотя бы прямоты?

– Правда очевидна, какая мне ещё прямота нужна? Срока давности в таких делах нет и заслуги не в счёт.

– Да уж... Тебе двадцать восемь лет. Ни семьи, ни детей...

– Предлагаешь денежную компенсацию с него потребовать? Мама, хватит. Ты переживаешь, я знаю, но наседаешь, как ледакол, мне же больно.

Дочь ушла к себе. Нина сидела, положив локти на подоконник, и смотрела в потухающее окно. Закрытая от всех, как старинный сундук, она давно не впадала в отчаяние, но сейчас горько жалела дочь.

Положив голову на кулак, она прикрыла глаза.

Её мужа, Галиного отца, привезли с буровой мёртвого. Врачи объяснили: остановка сердца, но что бы они ни сказали, Нине было всё равно, от чего горе мыкать. Она не плакала, но тщательно ковыряясь в событиях последних дней, искала зацепку. Какую – не очень понимала. То ли каких-нибудь знамений грозящего несчастья, которых она не сумела вовремя разгадать, то ли упущенных возможностей помешать смерти. Сотни раз она разбирала себя на молекулы. Ей казалось, найти причину несчастья настолько важно, что без этого у неё нет права жить. Время шло, острота переживаний при-тупилась, причина собственной вины не нашлась, но проще Нине не стало, а может, никогда не было.

Потеряв счастье тогда, что она могла посоветовать Гале теперь? Та лучше матери знает, что с любовью, как со смертью, тягаться бесполезно. Да и не с любовью, а с пустотой от неё.

Такой день

День не задался с утра. К зависшему жару прибавился ветер. Жгучий, как дыхание больного, он горстями метал песок на крыши сараев и гаражей. Деревья мотали лохматыми кронами, как африканцы в ритуальном экстазе.

Вихрем носились и Тимофеевцы. Взнуздав пораньше широколобую машину на высоких колёсах, они улетели в город и вернулись деловито-смурные, на пару часов засели в Вериной кухне. Из форточки на улицу нёсся густой мужицкий речитатив, в котором понятным было лишь слово «шмон».

Закончив совещание, братья вскочили на этот раз в грузовичок и помчались по своим магазинцам. На обратном пути изловили под руки Костика, подшептали пособить и рванули уже втроём в лес, к яме.

Подчистив дела, братья взялись за поиск доносителя. Надув шеи, напустив лбы на глаза, будто племенные бычки, они встали посреди двора и пыхтели, готовясь забодать любого мимоходца. Донести мог кто угодно.

На скамье зашевелился сомлевший Димаша. Братья, что-то сообразив, перебуркнувшись матом, встряхнули сонного певца, сходу заехали в челюсть, затем решили поспрашивать. Вместо ответа, певец, как смог, засветил в глаз одному из близнецов. Тимофеевцы опешили и несколько успокоились, отпустив жертву. Предпринять что-либо ещё им не дал невесть откуда взявшийся Иван.

– Мужики, Костик траванулся. Тётка Женька кричит: дело плохо.

Братья, почесав затылки, снова кинулись в квартиру к бабушке обмыслить новые сложности. Если дело обстоит так, как говорит Ванюха, положение бизнесменов усложняется.

Дима поспешил к Эле. Дверь открыла Фима и всплеснула руками, увидев опухшую челюсть и съехавший рот гостя. Парень взял женщину за руки и, как мог, спокойно принялся разъяснять ей свои соображения. Та сначала подняла брови, вызволив ладони, накрыла ими лицо, но негромкая доходчивость Диминого монолога вразумила её, и она согласно покивала, прижимая к груди забинтованный мизинец. Пока они беседовали, на нижней площадке кто-то громко поносил Элю. Потом всё стихло. Дима ушёл. И почти сразу Фима услышала шум подъезжающего автомобиля.

Утомлённые отдыхом на лесных озёрах, Володя с Элиной сидели в кабине, лениво переговариваясь, когда, выскочив из подъезда, мимо «вольво» промчалась никого и ничего не видящая Женя.

Эля потянулась к другу губами, и в этот момент дверцу машины распахнула Галя, забираясь на заднее сиденье.

– Привет, – неловко пробормотал парень. – Мы тут...

– За тётей Женей. Скорее, – скомандовала Галина, встревоженная отнюдь не поцелуем своих друзей.

Володя включил зажигание. Эля едва выскочила из салона. По дороге Галя кратко рассказала:

– Костик серьёзно отравился. Помогал Тимохам сваливать в яму неучтёнку. То ли ею же, то ли прикупил чего (они ж ему заплатили). Мать денег не давала; он последние дни сам не свой ходил.

– «Скорую»-то вызвали?

– Ага, тёть Женя к нам и прибежала звонить. Да сам знаешь, пока сюда доедут... Врачи ей так и сказали: если можете, своим ходом везите, быстрее выйдет.

Элина проводила машину взглядом. Поодаль стоял до сих пор не замеченный ею Димаша, который, по всей вероятности, вышел из её же подъезда.

– Поздравляю, – окликнул он артистку.

Эле не понравился его тон.

– С чем это?

– Отпуск удался. Не каждому артисту случается сыграть главные роли в нескольких постановках одновременно, – с иронией пояснил Димаша.

Эля, надменно пожав плечами, удалилась восвояси. Она застала Фиму перевязывающей руку.

– Ну что? Как? – спросила дочь как можно ласковее и приобняла мать за плечи.

Та отстранилась.

– Ничего. Прорвало, гной вышел, и сразу полегчало. Ты сядь.

Дочь опустила на табуретку. Фима смотрела на свои пальцы, совершавшие короткие движения, ничего пока не говорила. Собиралась с духом.

Эля начала раздражаться, предвкушая материну истерику.

– Деточка, – произнесла наконец Фима. – Доченька, прошу тебя изо всех моих сил: уезжай. Завтра или прямо сейчас. Из города в Петербург маршрутки каждый час ходят.

– Что случилось-то?

– Сегодня Женька к Нине прибежала «скорую» вызывать. На лестнице кричала, что-де Костик из-за тебя отравился. Может, не выживет.

– Господи, чушь какая. Он в здешней яме себе беду отыскал или в ларьке. Или у самогонщицы, Ванькиной дульсины. Удивляюсь, что ещё никто кроме него не пострадал.

– Димаша заходил, – не слыша дочь, продолжала Евфимия. – Лицо разворочено. Дрался с Тимофеевыми. Те искали, кто на них пожаловался. Думали, что он. Но это не Дима, я знаю.

– И слава богу. А сюда-то зачем прибегал?

– Тебя искал, хотел предупредить. Считает, что ты...

– Это просто бред.

– Не бред, – возвысила голос мать, уставшая от высокомерия дочери. – Не знаю, кто жаловался на Тимофеевцев, и знать не хочу. Про яму мы всем посёлком раза три писали, – напрасно, но, может, сработал эффект накопления или ещё что... Я сейчас не о том. Десять лет мы жили без тебя, как умели. Приладились к развалу геологии, к вечно трудным временам. Говорят: мировой кризис. А мы вне кризиса и не жили, но выкручивались, как умели. Появляешься ты, и всё мало-мальски светлое, к чему прикасаешься, гибнет, страдает, превращается в уродство. Наши простота, бедность, немудрёный образ жизни вызывают у тебя презрительную усмешку, словно не ты актриса, а мы для тебя жалкие комедианты. Ты как артистка и как человек привыкла заставлять людей плакать. Только слёзы в театре – выплеск эмоций в ответ на игру, а наши – настоящие. Где-то я слышала: вся жизнь – сцена. Из своей жизни устраивай сцену – пожалуйста. Но тасовать судьбы, выносить приговоры людям у тебя права нет, тем более, что всё это забавы ради или от скуки. Так, может, и достаточно? Оставь нам нашу жизнь, которую ты так презираешь, возмись за свою.

На пару мгновений дочь онемела; она не помнила, когда видела мать такой решительной.

– Неплохая речь, – ответила Элина, оправившись от удивления. – Если б ты поучала меня ради моего же блага, я б тебе даже «спасибо» сказала за пафос. Но ты ведь тешишь своё сельское самодовольство, отстаиваешь право земляков жить в тупости и дерьме, так благодари меня за то, что я дала тебе возможность высказаться.

– Вот и поговорили, – ответила Фима, как ни странно, совершенно успокоившись, и так сидела, не шевелясь, пока дочь собирала вещи, вызывала такси.

В ожидании такси Эля сидела около получаса в своей комнате тихо, словно уже уехала. С улицы посигналили. Эля подошла к Фиме и присела перед ней.

– Прости меня, мама.

Фима обхватила дочкину голову, смешно примяв на ней роскошную столичную шляпу.

– Мне прощать тебя не за что. Береги себя.

Элина уехала.

Володя остановил машину. Тишина висела напрягающая, неловкая. Пока ехали, пока двигатель мычал, и мимо окон пролетали пейзажи, молчалось легче. А сейчас, в тишине, Галя не выходила из машины, сидела, задумавшись, Володе стало совсем трудно.

– Сейчас уйду, – спохватилась Галя. – Просто вся эта история...

Она говорила о Костике, но Володя понял иное.

– Прости. Я должен был сам тебе объяснить.

Галя подняла скрещенные кисти рук, ставя крест на попытках оправдаться, выскочила из машины и уже в квартире достала с антресоли походный рюкзак.

За ней наблюдала Нина.

– Ты что, собралась куда?

– К Надежде. В Новосибирск.

Нина едва заметно кивнула.

– Костик как?

– Плох. Но, говорят, выживет. Тётъ Женя с ним.

Нина знала эти дочкины скупые, размеренные, нарабатанные годами движения, – так Галя обыкновенно собиралась в горы. В отшлифованных многим повторением действиях была даже своеобразная красота, ритуальная законченность, сообщающая, что принятое решение пересмотру не подлежит.

– Когда ж ты надумала? Надо ведь билеты загодя купить, созвониться, чтоб Надежда встретила.

– Купила. Созвонилась. Ещё в начале отпуска.

– Вон как, – откликнулась Нина потухшим голосом. Спрашивать что-то ещё – какой смысл? Удер-

жать дочку хотелось, но для чего? Что ждёт молодую женщину в этом посёлке, в этой яме? Какой отсюда выход, куда? Нине предстояло одиночество, но отговаривать дочь от возможности прожить иную, лучшую жизнь, она не стала бы ни за что на свете. Нина кратко вздохнула и пошла на кухню готовить снесь в дорогу...

Володя въехал в гараж. Заглушил двигатель, опустил голову на руль и попытался думать. Галя, похоже, всё решила. Эля... Вчера ещё, а сегодня уже незачем спрашивать, любила ли она его когда-нибудь. Нет. А жизнь без неё (снова) означает лишь, что посёлок обрыднет Володе до тошноты. Что теперь делать и надо ли вообще что-то делать, он не знал, но вдруг подумал: «Галя! Вот, кто всегда сходу знал, кому как жить». Володя привык доверять её советам. Вряд ли он и Галя останутся друзьями, но пусть хотя бы выслушает.

Володя вышел на улицу, в густеющие серые сумерки.

Во дворе меж домами слышался вальсяжный шансон. Окна первого этажа горели сочным жёлтым светом. На скамье перед ними недвижно сидела старушка.

– Добрый вечер, баба Вера, вы чего тут? – спросил Володя.

– Мальчишки опять празднуют. По случаю ублажения какой-то комиссии, ревизии...

– Так, так, – пробормотал парень, показывая причастность к разговору.

– Деньгами, Володюшка, много дыр залатаешь. Да с Женькой у них заминка получилась. Ребята мои пошли деньги ей совать. Та их выгнала, на подачку смотреть не стала. Они поехали в Костину больницу, всех докторов зелёненькими угостили. Те взяли, не оскорбились. Как не взять. Ну так и за Костиком присмотр теперь будет первостатейный...

Вера всегда была такая. Состарилась лет сорок назад, но с тех пор от неё не ubyло. Не одрябла, не сгорбилась. Белый платок, кажется, всегда один и тот же. Теперь таких не купишь. Говорит Вера ровно, блекло, будто твердит заученный урок; осуждает, не осуждает – не поймёшь.

– Ты, голубчик, иди. Чего со старухой сидеть. Молодым всё успеть надо.

– Спокойной ночи, – грустно сказал Володя.

В ответ Вера аккуратно махнула на него, словно благословила.

Гулко и отрывисто хлопнула в соседнем доме подъездная дверь, выскочил Димаша. Володя подумал, что тот по обыкновению к Тимофеевцам спешит, но краем глаза приметил: Димаша уселся с бабой Верой...

– Галя уехала, – с порога сухо объявила Володе Нина. С тем и расстались.

Володя взбежал на второй этаж, коротко звякнул в дверь. Открыла Фима и смотрела на него глубокими глазами, в которых не видно глаз из-за тусклого освещения в коридоре. Фима молчала, он понял: Эльки тоже здесь уже нет.

Парень, совсем растерянный, вышел на улицу.

В школьном курсе химии проходят ненасыщенные связи. Электрон с внешней атомарной орбиты куда-нибудь девается. «Осиротевший» атом обретает заряд и жаждет поймать противозаряженную частицу, чтоб вновь стать нейтральным, самодостаточным. Эта картина в отрочестве представлялась Володе рукой, которую отпустили. Она беспомощно повисла в пространстве, сжимаясь и разжимаясь в поисках дружественной ладони, но схватывает лишь воздух.

Всё как оно есть

Димаша

Его воспитывал дед. Когда-то были мама и отец, но их не стало.

Когда умер отец, первый из семьи, что-то стряслось, пошло меняться в характере старшего (лет на десять) Диминого брата – Сашки. От чего отец умер, Дима не знал: незадолго до горя родители нашли работу в геологической партии за городом, там и жили.

Мать сначала часто приезжала с продуктами, деньгами проведывать сыновей, потом реже, по выходным и не каждым. Всё это время не столько Дима, сколько – явственнее, острее – Саша чувствовал и видел, как неотвратимо погибала мама. Она никого в отчуждённым детям не привела, но выпивала всё чаще, больше и, что страшнее, методичней. Выпивка превратилась в ритуал, который тщательно соблюдался. По приезду она сначала готовила, кормила деда с мальчиками, убирала посуду и долго протирала стол по углам и торцам.

– Маша, – слабо пытался вмешаться в приготовления дед – материн отец. Но дочь, не глядя на него, вынимала из сумки бутылки. Одну ставила на стол, другую или две – на пол рядом. Ставила две рюмки, блюдо с кусочками хлеба и садилась спиной к окну. Вторая рюмка нужна была матери не в память о муже, не для иллюзии, что он рядом. Она так вела диалог со своей душой, куда не было хода никому, даже близким. Может быть, близким в особенности. Опершись локтями на столешницу, она ещё несколько минут задумчиво смотрела перед собой и начинала пить. Многие женщины пьют, а потом плачут, что-то там причитают – это мальчики видели, когда к матери заходили подружки – такие

же выпивохи, как она. Но мать пила молча – это было самое страшное.

Потом она перестала приезжать. Начал подолгу пропадать Саша.

Однажды ночью Дима не спал. Было лето. Сашка курил на балконе и разговаривал с девушкой, тоже на балконе этажом ниже. Светка – так звали девушку, – ровесница Сашки; они росли в одном дворе с младенчества. Света спрашивала, где он пропадал на этот раз. Сашка отвечал ей то, что и деду с Димой в таких случаях: работает, ездит в командировки. Чтобы ночным трёпом не тревожить домашних, брат в конце концов вышел из квартиры. Димка соскочил с постельки и выглянул в окно: Саша и Света стояли спиной к окнам, глядя перед собой, и неслышно переговаривались. Дима почему-то думал, что они поцелуются, но не случилось. Мальчуган вернулся в кровать ждать Сашу, и уснул, не дождавшись.

Он любил брата, хотя не мог бы ответить, за что. Отлучки Саши не умаляли этой любви, а подогревали: Димины тоска ожидания превращала старшего брата в героя. Саша не читал малышу на ночь книги, не играл с ним, но само его присутствие рядом для младшего означало мир во всём мире. Старший брат был главным условием Диминого благополучия, счастья, самой жизни.

Дима ждал внимания брата, хотел занять его собой, думать как брат, чтобы разговаривать на равных, а потому мечтал научиться читать. Дома у деда были книги, красочные детские в том числе. Видно, остались от Сашкиного детства, от прежней благополучной жизни. Малыш уговорил брата поучить его чтению. Больше, чем на три-четыре урока Сашки не хватило, он очередной раз куда-то исчез. Этого мизерного запаса Диме хватило, чтобы пуститься в самостоятельное пла-

ванье по волнам учения. Не вопреки бесконтрольности, а благодаря ей, поскольку никто не ругал за промахи, не навязывал техник словосложения, мальчик освоил чтение и торжественно продемонстрировал брату, когда тот появился дома. Сам факт братишкиного умения не произвёл особого впечатления, другое обстоятельство поразило Сашку куда больше: Дима читал вверх ногами. Сашка тискал брата, смеялся, много шутил, снова и снова просил что-нибудь прочесть. Этот день Димка любил потом всю жизнь. Особенно, спустя годы, после гибели Саши. Может быть, он и пережил горе с помощью этого воспоминания...

Саша уехал на следующий день после свидания со Светой. Потом, нескоро оказалось, что навсегда. А вскоре исчезла и Света, говорили, вроде бы устроилась работать в Пушкинском заповеднике.

Остался Димаша вдвоём с дедом. Для старшего внука дед уже ничего не мог сделать, но младшему надеялся пригодиться. Каким-то образом старик заподозрил в мальчике дарование и отвёл его в музыкальную школу в класс гитары. Там и вправду дело пошло хорошо, даже отлично. Дед планировал отдать внука и в спорт, но его отговорили соседи. Они считали себя знатоками в подобных вопросах. Спорт помешает музыке. Это, конечно, верно, но сам-то Дима, не относился к игре на гитаре настолько серьёзно, чтобы делать на неё все жизненные ставки.

Музыка давалась Диме легко. Он как будто всегда знал, как играть. Ему, конечно, многое показали и объяснили в школе, но когда дело дошло до инструмента, этюды и пьески мальчик исполнял так, что преподаватель долго молчал. Потом вскакивал со стула, хлопая себя по коленям, и раздумчиво, в противовес резкому движению, произносил: «Хо-ро-шо!» Походив по диа-

гонали небольшого классного помещения, словно приводя в гармонию восторг слушателя и строгость учителя, восклицал ещё раз «хорошо» и ставил Диме пятёрку.

Дима помнил отца, мать, брата, какие-то события, но во временном соответствии не мог бы их выстроить. Может оттого, что всё его существо сопротивлялось этому. Обстоятельно поговорить с дедом о прошлом Диме не хватало душевных сил. Он боялся разговора о том, с чего всё началось, и почему дед не попытался спасти семью, но видел, что дед изо всех сил старается теперь оберечь его, младшего своего потомка.

В общеобразовательной школе Дима сразу стал учиться плохо, почти по всем предметам. Но он любил читать историческую литературу – особенно, и романтическую, и любую другую, любил страстно, почти лечился ею.

Учителя (прежде всех, классная руководительница, историк Марина Александровна) самоотверженно боролись за то, чтобы он переходил из класса в класс. Марине Дима был благодарен, и вообще дети её любили. Несмотря на внешнюю непривлекательность и молодость, она была добра, щепетильно справедлива и деятельно отзывчива. Дима пригласил её на отчётный концерт. Она пришла с подругой – учительницей литературы Софьей Петровной. Обе были восхищены Диминым исполнением. Мальчик и сам чувствовал, что играл особенно. Лучше всех...

А со вступительного экзамена в музыкальном училище он ушёл. Не стал поступать. Позвонил дед, хотя договаривались, что он не станет докучать внуку, пока тот не сыграет и не позвонит сам. Но новость была запредельная: умерла мама, причём, не в тот день, а раньше, и её уже успели похоронить. Почему

это произошло – не известно и на самом деле уже не важно.

Дед и внук побывали на могиле (мать Димы похоронили рядом с его отцом), но в посёлок, в дом, где жили родители, не заехали: не хватило решимости. На обратном пути Дима глухо молчал. Он вдруг подумал, что ничего о себе не знает. Что стряслось с его семьёй, ведь не у всех же такая судьба, не все умирают, оставляя на свете только старого да малого. С чего-то же всё началось, кто виноват и могло ли быть как-то иначе? В Диминой картине прошлого, куда он до сего времени боялся заглянуть, оказывается, не хватает важных деталей, надо во всём разобраться, заполнить пустоты. И ещё: ему не хватает веры в... право жить, потому он должен знать, кто и как в его роду оправдывал выданное разрешение на белый свет.

Дима молчал неделю, потом стал собирать вещи. Дед решил было отговаривать внука, но что-то подсказало старому сердцу: пусть идёт. Раз уходит, значит, не повесится, не выбросится с балкона (ведь и этого старик боялся, видя молчаливые страдания мальчика), значит, что-то хочет, возьмётся за поиски, останется жить, а это главное.

На прощанье внук сказал:

– Я буду звонить.

У двери дед протянул несколько денежных бумажек.

– Спасибо. Созвонимся, – повторил юноша и, забрав сумку и гитару, пошёл прочь.

Ноша его была легка, не в пример той, что лежала на душе, но шансы изменить положение вещей нарастали с каждым шагом.

Рассказ Веры

Вера сидела на лавке возле дома, благообразно сложив руки на коленях.

– Доброго вечера, мэм, – приветствовал её Димаша.

– Привет, привет, Димочка, – кротко-равнодушно откликнулась Вера.

– Баб Вер, вы тут, говорят, живёте с момента образования геологической партии.

– Так, Димочка, так, – смиренно подтвердила пожилая женщина.

– Многих помните, наверное.

– Как тебе сказать... Всех не упомнишь, да и какая у старухи память, но ты спроси, может, я и подскажу что.

– Павла и Марию Гавриловых помните?

– Недолго они тут работали, но я их помню. Маня в геологии бухгалтером была. Плохо работала, всё время что-нибудь не то у неё выходило, ошибалась часто. Не её было это дело. Выговаривал ей начальник, а не выгонял, жалел... Она другого склада была, не коммерческого. Ни чужие, ни свои деньги считать не умела. Бывало, получит зарплату, книжки покупала, пластинки или как... диски с музыкой. Это всё дорого не стоит, деньги оставались, Маша их на детей переводила... Кадровичка болтала: у Гавриловых в городе двое ребят, сыновья, значит. Когда начались сокращения, многих уволили, Машу тоже. И мужа её, Пашку. Он шофёром был... Дальше-то я особо не знаю, говорили, что они у частника в магазинчике в Синюгино работали. Павел грузчиком да тем же водителем, она продавцом-кассиром. Хозяин исправно платил, картошку, макаронны, хлеб брать разрешал. В общем, жили... Маша людям продукты в долг давала под запись, много, видать, раздала, ну и оттуда уволили. Квартиры

от геологии они в своё время получить не успели, ютились в деревне, в опустелом Спиридоновском домишке. Пашка в гончарном цеху сторожевал, к бутылочке прикладываться начал, отдаляться от жены, и та за стакан взялась. Они дружные были, любили друг друга, а жить не умели. Поначалу держались, Маша пела по праздникам. Хорошо пела, забористо, но... Когда один человек пьёт, а другой сопротивляется, жизнь катится под откос не так быстро, а когда оба да в охотку... Первым погиб Павел. С работы по рельсам шёл... Машу после того трезвой ни дня не видали. Незадолго до смерти к ней парнишка приехал. Сначала всё по пятам ходил. Та ушётся куда-нибудь, он разыскивал, приводил, с уговорами, ласково, а однажды прибил. От отчаяния. Машутку в больницу забрали, там обнаружили рак лёгких. Умерла она вскоре после выписки. Парень шибко горевал, каялся. Пробовали его успокоить, говорили, мол, стадия поздняя. Тот головой мотает, бормочет: «Ма, ма, прости дурака». Вишь, мамой она его была. Уехал он сразу после Машиных похорон. Непонятный человек, вроде тебя. Поговаривали, будто он потом в Выборге рыбу, что ли, ловил...

Вера вовлекалась в воспоминания: иные, более давние события долгой жизни настойчиво окликали её. Старушка припомнила, как её муж насмерть сбил на УАЗе их первенца. Она ему простила, ещё сына родила, но он сам себя не простил, повесился в сарае.

По ходу повествования менялось Димино лицо, будто каждое слово наносилось на сердце татуировочной иглой. Он откинулся на спинку скамьи, заложил руки за голову, вроде как устал от бормотни. Так поняла Вера, замолчала и, поправив узел платка, уставилась под ноги.

А Димка, не слыша наступившего молчания, беззвучно кричал, спорил с Верой, с самим собой. Жить

не умели? А Тимофеевцы, стало быть, умеют. Неужели уметь жить, значит, наживаться, выманивая не только и не столько деньги земляков, сколько обкрадывая их человеческую природу? И он, Димаша, хорош. Можно сколько угодно жалеть себя за скупость родительского внимания, оставаться равнодушным ко всему и всем, потому что тебя не ласкали, о тебе не заботились так, как бы ты хотел. Можно не прощать, потому, что тебе никто не сострадал. Можно валить на деда, что допустил, не уговорил, не забрал дочь, и бесконечно оправдываться малолетством, но оно закончилось, и что ты теперь скажешь самому себе? В чём твоё преимущественное право выносить приговоры собственной семье, значит и себе?

Он исчез из посёлка также внезапно, как когда-то появился. Куда – Бог весть. Может, жена знает, но не похоже. Таня кому-нибудь да рассказала бы. Но она молчала, ни с кем не делилась, и это странно, потому как сельская традиция требовала непременно обсуждения события с местными кумушками. Но Таня никому не жаловалась, жила и выглядела по-прежнему, как всегда...

Дима шагал по Синюгино с кладбища на остановку. Он навестил могилы родителей, прибрал, как мог, обдумывая Верин рассказ. Они с Верой часто виделись во дворе, а летом – каждый день и частенько беседовали, но Дима всё не решался расспросить её о родителях. Он страшился душевной боли, потому откладывал, успокаиваясь тем, что вот-вот соберётся с духом. Таня, дети, борщи создавали заманчивую иллюзию семейной жизни, и вопрос о родителях охотно заменялся другим: может, ничего не нужно выяснять, просто жить, как многие, даже лучше, ведь у Димы до сих пор не было

шумной весёлой семьи, где никто ни перед кем не виноват? Однако разговор состоялся, а горечь от него оказалась иного свойства, более светлого, что ли.

Димаша теперь знал: родители любили друг друга, точно, окружающие это замечали. Значит, и они с Сашкой были желанными детьми. Почему родители редко навещали сыновей? Может, просто не могли? Но не могли – не значит, не хотели, и потому Дима снимает с родителей вину за разлуку.

От немудрёных мыслей парню полегчало, он решил: отныне его жизнь будет другая, и в ней придётся много на что решаться. Вот хотя бы позвонить домой. Правда, дед снова спросит Диму о возвращении, а тот когда ещё приедет. Надо ведь братнину историю отыскать. И Свету. Впрочем, с дедом тоже не мешало бы поговорить...

Элина

Евфимия шла по перрону под руку с дочерью и смотрела на небо.

Облачная рябь расходилась по нему длинными грядами из неведомого центра.

– Почему же ты ушла из театра? – спросила мать с сожалением.

– Наверное, это не моё, – подумав, ответила Элина.

– Не твоё? Вспомни, как ты поступала: залпом.

– Вот-вот. Залпом. Никаких сомнений, трудностей, а они должны быть, понимаешь? Иначе как оцениться? В какую сторону расти?

– Что ты теперь будешь делать?

– Мы с несколькими нашими создаём свою контору. Будем заниматься организацией антрепризных спектаклей.

– Помогай вам Бог. Поставлю в церкви свечку за вас.

– Спасибо. Мне это важно, – серьёзно произнесла дочь.

Они зашли в вагон.

– Как там Галя? – торопливо, словно спохватившись, спросила Эля.

– В Новосибирске в тёткином магазине работает. Заочно на юрфаке учится. Надежда так постановила, хочет сделать единственную племянницу наследницей, совладелицей магазинов.

– Чем торгуют?

– Всем для автомобилей: от деталей до шампуней.

Элина покивала.

– Провожающие, выходим из вагона, – предупредила проводница.

Дочь сжала материны руки, поцеловала в лоб, как ребёнка, и выскочила из тамбура.

Фима тут же возникла у окна.

– Как Володя? – растягивая рот, будто так понятнее, спросила артистка. Мать не слышала и разводила руками. Эля качнула ладонью, дескать, Бог с ним. В это время поезд тронулся, и она пошла с вагоном.

Мать то махала, то крестила шедшую рядом, но неотвратимо удаляющуюся родную душу в уносящееся вспять пространство...

Евфимия поёрзала в неудобном кресле и открыла молитвенник. «Какой чистый язык! Простой, ясный, будто морозный воздух, ничего лишнего», – радовалась она. В последнее время Фима увлеклась чтением духовной литературы, но не всякой. Верила ли женщина в Бога – как знать, но она верила красоте молитвенного слова, черпала в нём удовольствие и вдохновение. В поэтической глубине Псалтири она восстанавливала душевный покой и силы, чего раньше не могла обрести

никакими другими способами. Ей можно было предложить книги о том, что Бога нет или Он есть, но в Фиминной вере от них ничего не прибыло и не убыло бы. В этом заключалось её счастье.

Проводив маму, Элина спешила домой – в съёмную квартиру: хотелось успеть собраться к спектаклю, главную роль в котором исполняла артистка-ровесница.

Вернувшись из отпуска, Эля подвергла внутренней ревизии то, чем собиралась жить, в первую очередь, творчество. По мере раздумий памятный случай с не удававшейся репликой превратился в стойкое желание разобраться, что не так с её артистическим соответствием. Она поставила себе задачу ходить на все театральные постановки города, где играли сверстницы. Элина стремилась понять: может ли она сыграть также или по-другому, что есть у них, чего не хватает ей или наоборот. Хотелось и ещё чего-то. Артистка не могла бы выразить словами, чего именно, но чувствовала себя на правильном пути. Однако спектаклей ей показалось мало. Она приохотилась к выставкам скульптуры и живописи, учась отыскивать внешние и внутренние смыслы и средства изображения, понимать, что достигает души зрителя раньше и сильнее схватывает. Трудно сказать, насколько успешно она продвигалась по избранному пути, но в тонкой интуитивной работе с собой она находила удовлетворение и, что любопытно, узнавала цену другой стороны жизни, не связанной с театром.

Двое в ночи

Между рядами гаражей двигалась присогнутая фигура. Из темноты в гаражный проулок въехал авто-

мобиль и в упор осветил фигуру. Костик заслонился локтём.

– Здорово, – поприветствовал его из машины Володя и протянул ключи.

– Угу, – филином кликнулся Костя.

Железная дверь отскрежетала в сторону. Костик вкачнулся внутрь, нащупал лампочку и повернул. На белый кирпич стен, верстак, полки пал густой неяркий свет.

Машина медленно вкатилась и затихла. Пока Вовка возился в ней, приятель развернул два складных рыбацких стульчика. Бокастую сорокалитровую флягу без крышки накрыл фанеркой с прибитыми снизу двумя продольными брусками. Чтоб фанерка уместилась плотнее, пришлось как следует нажать на неё. Наконец, горло фляги прочно вошло меж брусков, и стол был готов. Верстак для посиделок им почему-то не годился.

Володя достал с заднего сиденья пакет с бутылками коньяка, коробкой морской капусты. Костик неведь откуда, бесшумно, словно поймал в воздухе, вынул полхлеба в пёстрой газетке и стакан.

Володя бережно налил, сгрёб стакан пятернёй.

– Ну, будем, – произнёс он и опрокинул налитое в себя.

Он пил один. Костику после больницы не шло, но он любил смотреть на выпивающих, сам наполнял стаканы, ходил, если требовалось, за добавкой. Однажды он увидел Володю пьющим в одиночку на капоте «вольво», зашёл и пробыл его молчаливым компаньонном часа два или больше. С тех пор они время от времени сходились в гараже. Сначала раскладывались на капоте, потом появились «удобства»: стульчики и столешница.

Первую бутылку Володя осушал молча, изредка закусывая. Вторую – наголо. В какой-то момент он отни-

мал отяжелевший взгляд от стакана, всматривался в Костика, словно вспоминал, и спрашивал, неопределённо поводя головой:

– Как там?

Костик понимал, что его спрашивают о коме.

– Никак, – мычал он в ответ и, помолчав, прибавлял, – светло.

Володя кивал и замирал, уставившись себе под локоть. Его устраивало, что рядом живая душа молчит, будто понимает больше, чем сказано. А Костя медленно водил взглядом по бутылке, стакану, другу. У него всегда теперь был вид думающего человека. В нужный момент Костик поднимал таксиста и вёл домой. С некоторых пор Володя всё чаще оставался на ночь в городе, и Костик, прождав напрасно, приплетался на заре в деревню.

– Что, – спрашивала Женья. – Не приехал твой дружок?

Сын, улыбаясь, пожимал плечами и разводил руки, совсем как клоун в цирке, когда не находит собачки в чемодане.

Мать крестила его и легонько подталкивала в спальню. Сама оборачивалась на стену. Из пластмассовой посеребрённой рамки на неё глядела Божия Матерь. Евгения крестилась, глядя Богородице в глаза, наскоро бормотала молитву, как стихи, без просьб. Чего ей желать? Всё, чего хотелось, у неё уже было, а великого здоровья или богатства себе и сыну просить смешно. Они друг у друга есть, и ладно. Завтра Женья пойдёт мыть полы в районную больницу, вечером – в гончарный цех, где она и уборщица, и дворник, и сторож. А Костик тут, по хозяйству. Мать его ни о чём не просит, но всегда видит, как в доме что-то преобразается. Крышу на курятнике залатал, с некоторых пор и кур взял в полную опеку. Короткую ножку у стола надставил. Вчера гречку сва-

рил. Без соли. Забыл. Не страшно. Страшно, что это может кончиться. Вот бы не кончилось...

Володе и Косте неведомо, почему они сблизилась. Может потому, что душевная пустота Кости была сродни Володиной. Такую жизнь Элина назвала бы серой, но как раз такая их сейчас устраивала, она – как раздумье перед выбором: можно пасть, а можно и вознестись. Этакая жизнь-чистилище, откуда выходят, умерев или родившись.

Гáлина Надежда

Две женщины – молодая и постарше, – одетые с лоском, ехали по проспекту Декабристов в блестящем, словно бы скользком, автомобиле. Старшая вела машину мягко, не быстро, но и не медленно – так, как водят люди с опытом и отлично знающие себе цену.

– Как поживает Нина? Не болеет? Вы вчера долго беседовали.

– Не болеет. Про поселковые чудеса рассказывала. Говорит, Димаша пропал так же чудесно, как появился.

– Тот, который отравился? – не поняла Надежда, младшая сестра Нины.

– Не тот. Танин муж.

– Вот как... Переживает?

– Татьяна-то? Что ты. Она в пятый или шестой уже раз обаяла в хирургическом отделении какого-то крестьянина из Барбашей. Теперь у него в деревне всем семейством обитают. Тётя Фима с Женей по святым местам богомольствуют.

Машина сделала уверенный поворот по произволу немолодых, холёных, тонко и пряно пахнущих рук, мягкость и нежность которых обманчива.

– А Володя? – спросила, наконец, тётка о главном. – Не женился?

– Да вроде кто-то есть.

Они подъехали к большущему магазину. Над ним на плакате красовался несбыточный автомобиль, к которому прильнул сияющий мужчина. «Авто-рай. Всё для водителя!» – возглашалось ниже.

Галя уже поднималась по крыльцам к широкой стеклянной двери магазина. Надежда, задержавшись на парковке, смотрела теперь на племянницу и невесто размышляла. История с Володей, которую она знала частью от Нины, частью от Галины, не далась племяннице легко, и не исключено, что усложнила ей будущее.

Теперь возле Гали хорошо бы появиться недюжинному мужчине – тому, кто смог бы увлечь её новым чувством, убедил бы поверить в него, в возможность счастья. Но откуда возьмётся такой человек? Галя из тех, кому трудно полюбить, но уж если случится, счастливцу достанется самое преданное, самое деятельное чувство. Галя умеет служить людям. Но, увы, такие личности мужчинам не нужны, то ли потому, что никто не хочет чувствовать себя в долгу, то ли потому, что быть достойным таких, как Галя, большой труд, не каждому по плечу.

Чем, скажите на милость, виноваты перед судьбой сильные, добрые, умные и распорядительные женщины или мужчины? Родные едут на них, чувствуя, что не могут стать вровень и одолевать трудности с тем же мастерством и усердием. Товарищи и соратники не пытаются приблизиться к ним или выходить вперёд, боясь ответственности и вместе с тем, горячо завидуя. Любимые предают их в уверенности, что те, добрые и сильные, не бьют посуду и не травятся таблетками, значат, не умеют любить пронзительно, страдать глубоко и

остро. Друзья взваливают на них проблемы, хотя у тех и так забот выше ворот.

Галя не требовала от Володи объяснений и покаяний. Почему? Боялась правды, насмешек, боли, борьбы, которую вряд ли выиграет, была излишне горда? Может, да, а может, нет. Никто не подумал спросить её об этом. Молчала, значит ли, не любила? А кто любил её?..

Гм... Надежда по себе знала, каково переживать предательство любимого бесстрастно, со спокойствием моря в тихую погоду, где, под поверхностной безмятежностью, в глубине, вращаются водовороты, взрываются вулканы, и порой так больно, что катилась бы эта жизнь куда подальше...

Таково размышляла Надежда по пути от стоянки до торгового центра. Она ещё замешкалась перед входом, откинула локон дорогой причёски и энергично прошествовала в холл. Сегодня она сама всё здесь «разрулит», а Галину через час отпустит готовиться семинару.

Нина и Фима

Стояла хрустальная тишь. Осенью – не летом – она тихо радуется и умиротворяет. Листва в эту пору особенно трогательна. Ей больше, чем летом, достаётся от погоды, поэтому она именно теперь, как никогда прежде, отвечает солнцу взаимностью: жадно впитывает свет, зажигает им окрестности, усиливая сумасшедшими красками.

На пне под окнами сидела Нина и щурилась от тотального осеннего лучения. Из дому вышла Фима и примостилась рядом. Они некоторое время молчали. Первая заговорила Евфимия, зажмурив слезящиеся глаза.

– Не думала, что буду радоваться солнцу.

– Да уж, – откликнулась Нина. – Лето вымотало... Я, Фима, корову-то продала. Невмоготу ухаживать.

– Дело. А я из санатория ушла. Сперва думала, без работы с ума сойду, но Бог миловал.

– Правильно. К дочери будешь чаще выбираться. Питер не Новосибирск.

Евфимия поджала губы и кивнула.

– Нин, помнишь, как я замуж выходила? Всей геологией гуляли. Начальник, Астрицкий, часы моему подарил, а мне – туфли итальянские. Все наши молодки по очереди мерили.

– Каблук уж очень высок, стопе ломотно.

– Зато моднючие... Я их мало носила. Платьев красивых негде было купить, а со своими – смешно. Всё ждала: разживёмся, за одеждой в Питер ездить будем... Потом мой мужик удёр, не до туфель стало...

Женщины на чуток примолкли.

– Дочки наши в школу пошли, помнишь? Мы им плащики купили, розовые! Не сговариваясь... Я второго сентября в больницу попала, Элинка у вас тогда с месяц жила. Нин...

Евфимия осеклась. Нина тихонько накрыла ладонью её сцепленные пальцы.

– Ладно, Фима, что там...

Женщины сидели молча, взявшись за руки, будто давние подруги, хотя ими никогда не были.

– Сколько нас, первых геологинь, осталось? Мы с тобой, Женька, Вера... – Перечисляла Нина.

– Спиридониха ещё. Месяц как не встаёт. Я вчера к ней заходила, бельё забрала постирать. Пирожки-то у неё там твои, что ль?

– Да, отнесла вчера пяток... Жалко её. Спиридониха в наших огородах воровала, помнишь? Товарищеский суд собрали, стыдили... Нынче летом я её снова в моих грядках застала и отпустила и Богом... Большинства

наших в живых нет: Астрицких, Васёвых, Борисова, Риммки Саенко... Остались только мы. Бывало, праздники, беды, глупое, смешное, – всё тут, в геологии. Так, Фима, получилось: не больно дружили, не особо не ругались, работали, детей растили вроде все по отдельности, а сколько, оказывается, пережито сообща. Комбикорма, сено, сахар всем посёлком выписывали, огородишки приватизировали, счётчики устанавливали, за лес воевали... А теперь всё уже в зачёте. Как жил и живёшь, что от тебя выросло – уже ясно, не добавишь ничего, не отменишь... Кто хороший, кто плохой – не нам судить, судьбовали вместе, к Богу по одному пойдём... Так что нынче мы не земляки – родня, Фима, все друг за друга отвечаем.

– Нин, ведь я тебя не любила... – смущённо проговорила Фима. – Каюсь.

– А теперь? Полюбила? – Усмехнулась соседка.

– На смейся... Приватизация земли, установка счётчиков, ну... другое всё... Зачем тебе это надо было? Зачем тебе всегда до кого-нибудь и чего-нибудь есть дело?

– Так выгодно ж сообща, – ответила Нина, не понимая, к чему соседка клонит.

– Это – да, но я о другом. Почему тебе нужно, чтобы всем было выгодно? Пусть каждый бы решал сам. Всё равно все тебя любить не будут. Людей добром не переделаешь. Зачем тебе надо обо всех печься?

Нина долго молчала. Фима уже пожалела, что разоткровенничалась.

– Не знаю, что сказать... Ты права, людей не переделаешь. У каждого своя судьба, а какие тут судьбы – сама знаешь... Но, может, для того, чтобы эта убогая жизнь была хоть немного сносной, и тогда люди спасут себя сами?

Женщины снова замолчали, наблюдая за спешащей к ним встревоженной Таней.

– Тётъ Фим, тётъ Нин, – голосом чайки закликала на подходе Танюшка. – Баба Вера в больнице. Инсульт...

Великий, гнетущий тишью вечер повис над здешней землёй и скоро преобразится в ночь. Тих и посёлок с очередным своим несчастьем. Шуметь тут некому и незачем. Мало ли бед перенёс этот сирий, забытый и забитый уголок громадной страны.

Придавленный вселенским вечерним покоем, посёлок как будто сник, кротко прося у Бога не осудить, когда придёт должный час, на адовы муки его неприкаянных, не присмотренных Провидением жителей.

ХОЛОДНАЯ ЗВЕЗДА СТЕЛЛА

Небо...

*...вся Вселенная и её части живы,
хотя и по-разному...*

К. Э. Циолковский

1

«Как наивны знания людей о внеземном. Они, вероятно, даже не крохотный шаг на пути к истине, а физика, химия, математика в масштабах Вселенной, в громаде всего, что способно открыться разуму, не имеют никакого значения. Наши методы познания столь неуклюжи, что тончайших истин и материй для них просто не существует, как для лопаты не существует атома.

Человечеству не дано изучить, освоить, тем более, покорить космос, и он в отличие от нас знает это. Он безмерен, неподвластен расчётам и логике, как грандиозная, не развенчиваемая тайна, не отторжимая часть которой – жизнь. Громадные, неисчислимые, безмерные пространства напоены жизнью. Всё, что создано Всевышним, не может не носить её в себе.

Среди чёрных дыр, созвездий, туманностей незримые коридоры ведут из одних миров в другие так, что можно, сделав всего шаг, оказаться за миллиарды километров, а можно лететь сто тысяч световых лет, чтобы остаться на месте.

В лабиринте пространств, где и за вечность не попасть в одно пространство дважды, переливается светом галактика Рай или Эдем, или у неё нет названия, ведь не человеком она создана, не им обжита. И она – не обителище блаженных идиотов, не Царство Божие. Она – одна миллионная часть Царства Божия.

Потоки космического вещества стремятся к ядру этой галактики, а там, малиново померкшая, клубится огненная плазма – мешанина энергий душ, которые прошли земную жизнь или не прошли, должны будут отправиться на Землю или исполнить другое веление Высшего.

Из этого мерцающего центра, котла этого – pupa Вселенной – неспешным чередом высачиваются переливающиеся разновеликие сферы, похожие на радужные мыльные пузыри. Они ещё не души, но уже понимают себя, слушают своё чрево, потому что там однажды раздастся высший глас и назначит им их жребий. Эти сияющие шары роятся невдали от своей колыбели – котла жизни. Каждый из них в нужное время исчезнет здесь и возникнет в назначенном месте в некоем образе, в котором придётся свершать судьбу.

Земная жизнь – многосложное испытание для души, прежде всего, разнообразием выбора и неизбежностью потерь, которые, в итоге, оборачиваются обретениями. Душа приходит на землю в непрочной скорлупке тела, в которой невозможно чувствовать себя защищённой, а выйти из скорлупки следует крепкой, цельной, и сиять, вернувшись к котлу жизни, ярче, чем при рождении...

По окончании земной судьбы души возвращаются в клокочущую купель, переплавляются, смешиваясь, чтобы оттуда поднимались новые и новые лучащиеся сферы.

Одна сфера поднялась из переливчатого багрового варева раньше положенного.

«Нельзя, нельзя без очереди. Рано. Тебе ещё не назначено слышать Голос...» – раздались из котла мысли тех, кому рано ещё надеяться на странствие во Вселенной и земную жизнь.

«Может, мне самой просить Его о какой-нибудь судьбе, раз уж я вышла?» – поинтересовалась будущая душа.

«Зачем? Примешь в своё время Его веление – и всё. У нас нет выбора. Мы ждём Его воли, понимаешь?»

«А если выбрать всё-таки можно? Никто ведь не спрашивал Его об этом».

«Н-ну, попытайся. Только если твой выбор ошибочен, вся жизнь будет неправильной. Закон возмездия», – нехотя возникли общие мысли.

«У меня вопрос, – настаивала своевольная сфера – будущая душа. – Предположим, планета столкнулась со звездой. Планета, разумеется, погибла, а звезда занемогла. Для кого из них тут возмездие? Они что, обе когда-то сделали ошибочный выбор?»

«Возмездие – не наказание, а урок. Одна расшиблась, другой больно. Каждая получила урок. Какой? Трудно сказать. Но почти всегда возмездие – плод судьбы».

«Врёте вы. Урок – это когда понял, что не так, и можно исправить. Так что столкновение – урок только звезде. А планете смерть послана свыше, потому что она призвана в иное пространство для других задач...»

«Больно ты умная. Наверное, тебе действительно пора получить судьбу»...

Сфера-душа не ответила, удивлённая собственными словами. Она ещё не родилась как следует, потому что знать о выборе и уроках вроде бы ещё не могла. Охваченная раздумьями, она побрела в сторону, но спохватилась: не вернуться ли в котёл жизни. Может быть, там осталось то, что сделало бы её крепче, лучистее, долговечнее? Но не найдётся ли то же самое на дорогах Вселенной?

Бунтарка отдалась космическим потокам и полетела, куда глаза глядят. Вначале, ненадолго, она растерялась, но ведь это простительно, когда у тебя пока нет опыта, стало быть, и предчувствий, нет крепкой воли и устремлённости к цели, да и цели ещё нет. Но в тебе есть неразборчивая радужная мешанина, из которой вызреет всё, чем положено создавать и питать душу – себя. Попусту расплескать это светлое наполнение нельзя, иначе где потом черпать чудесную силу сотворения, какая в тебе уже есть, а тебя-то, души, пока ещё и нет.

Чем обернётся бегство во Вселенную? Как знать. Пока ясно одно: Бог милостив, но урок преподан будет. Должен же как-то возместиться нарушившийся порядок.

Всюду вокруг юной путешественницы неровным сиянием лучились звёзды – гиганты, карлики; красные, белые, жёлтые... Мимо проносились метеоры – отщепенцы, обломки бурной небесной жизни, у кого за плечами одни катастрофы, начиная с рождения. Меньшие из них, увлекаемые земным притяжением, сгорают в атмосфере Земли. Это красивое, печальное зрелище – звездопад. Люди наделяют его чудесным могуществом, а какая сила у космических обломков? И всё же лучезарная стремительная гибель космических странников веками не даёт умолкнуть поэтической лире человечества...

Чёрные дыры смотрят в пространство бездонными, скорбными глазами и серебристым краевым мерцанием предостерегают каждого, кто осмелится приблизиться к их горизонту событий. Они созданы захватчиками, способными лишить свободы кого угодно, но воли их в этом нет.

Новорождённой сфере-душе всё это казалось любопытным и загадочным, несущим малопонятную, но грандиозную созидательную идею.

Неожиданно эхом чьей-то – не своей – мысли сфера-беглянка услышала: «Стелла». Ей захотелось, чтобы это было её имя. Откуда к ней пришло это слово – она не представляла. Прошлого будущая душа не чувствовала, наверное, жила впервые. Но это мог быть и отзвук будущей судьбы.

2

Свет – непреходящее благо. Все непременно должны стремиться к нему, ведь как не жаждать блага, заключила Стелла и, чтобы укрепиться в этой мысли, принялась наблюдать за тем, где, что и как творится под лучами.

Она довольно скоро обнаружила, что больше всего свет нужен населённым планетам. Под живительным сиянием с ними происходило необычайное множество перемен разных свойств и порядков. Стелла увлеклась, разглядывая планеты, и Землю – чаще других. Она лучами отрагивала вершины гор и кратеры вулканов, зыбь океанов и колючее хвойное море тайги, как слепец осязал бы подушечками пальцев окружающие предметы. Хотя Стелла видела всё, к чему прикасалась, она отчасти была тем слепцом, потому что суть и смысл осязаемого не были ей ясны.

Раньше и вернее всего Стелла уразумела природные ритмы Земли. Куда более сложной загадкой оказалась человеческая жизнь. Короткая, до предела наполненная суетой, неудержимая, переменчивая... Стелле понадобилось время, чтобы привыкнуть к мельтешению. Поначалу она толком землян и не видела, замечала лишь едва уловимые промельки на поверхности планеты. Мало-помалу Стелла приспособилась к скорости земной жизни, кое-что разобрала, отличила. Снова и снова она обследовала

землю, жадно ища ответов, которые не могли лежать просто так, на виду.

Однажды Стелла увидела в реке своё отражение и засомневалась, что это она сама. Моргнула. Речная сиятельница моргнула тоже, но мало ли кто отражается в воде, а может, живёт там. Стелла моргнула дважды, и та, водяная, ответила в точности. Потом на отражение тёмным призраком наплыла старая дощаная лодка. В ней сидели двое, целовались, смешливо шептались. Девушка вскакивала, а юноша, держа борта, делал вид, что собирается резко качнуть. Его подруга шуточно пугалась, всплёскивала руками. От её движений лодка раскачивалась, девушке приходилось приседать, хвататься за юношу. Сколько в этом было безыскусной грации! Какой милой казалась девушка, как волшебным звучал её голос, какими изящно непринуждёнными были движения...

Всю ночь будущая душа, загипнотизированная чужим счастьем, смотрела на землю, пока та не заволочлась утренним туманом.

Спустя небольшое время Стелла увидела вроде бы ту же девушку танцующей на открытой сцене огромного города. Балет породил совсем не те чувства, что игра влюблённых в лодке. Танец показался... отталкивающим, как всё, что лежит за пределами понимания. Будущая душа увидела, ужаснулась, попыталась не смотреть и – не смогла. Её неодолимо тянуло следить за тем, как из одного движения рождается следующее, как танцовщица перевоплощается в птицу, ковыль, волну, словно сбрасывая оковы тела. Но ещё более Стелла была поражена в самую глубь своей сияющей сути, когда сумела прочесть в танце недавнюю историю на реке! Будущая душа водила лучом по сгибу локтя балерины, спине, колену, желая понять, где, как возникают, совершаются мельчайшие движения, из которых складывается

магия. Что, если бы наклон получился чуть больше, а прыжок чуть выше? Почему не больше, не выше, а именно так?.. Танец ничего не объяснял, он просто длился. Стремясь постичь секрет его притягательности, Стелла потеряла покой. Она пыталась отвлечься, но снова и снова, против воли, которая, оказывается, в ней уже зародилась, искала балет. В конце концов, будущая душа решила: смысл и красота жизни – в танце...

– Как ты посмела просить того, что не положено? – Возмутились планеты, кометы и даже звёздная пыль. – Надо смиренно ждать, когда Отец всего сущего назначит тебе поприще. Если ты его не получила, значит, создать тебя кем-то пока нельзя.

– И не надо кем-то. – Соглашалась Стелла. – Я хочу родиться на Земле балериной.

– Родиться мало, ею должно стать. Станешь плохой балериной, будешь презираема, снедаема собственной завистью; хорошей – чужая зависть отравит твоё существование. Человек – ограниченное существо, все его желания мелочны, а запросы и самомнение велики. Век его короток, смерть неизбежна. Грустно быть одной из них.

«Мелочные и трусливые земляне, однако, создали то, чему не жаль посвятить жизнь. Пусть будут злость, зависть, боль, лишь бы танцевать», – упрямо думала бунтарка.

– Стать великой балериной не просто, но куда труднее оставаться ею. Знаешь ли, каково это? – вопрошали кометы, перерождавшиеся не однажды, помнящие каждую свою прошлую жизнь, но вряд ли изведавшие счастье танцовщицы.

– А вы знаете? – удивилась Стелла.

– Конечно. Сумасшедшая работа. К тонкостям и глупинам мастерства ведут долгие, мучительные твор-

ческие искания, отречение едва не от всего на свете. А взамен – усталость, апатия, депрессия. Ноющая боль перетруженных ног не даст тебе спать по ночам. Чтобы утром встать с постели, придётся долго растирать, разминать ступни, икры... Будешь счастлива уже тем, что эта боль ещё не отняла у тебя способности танцевать.

– Разве страх перед болью может отвратить от заветной цели? Чем же служить мечте, если не здоровьем, не всем своим существом? Зачем вообще этот сыр-бор? – Возразили белые карлики.

Нашлись те, кто не спорил, а сразу взмолился:

– Отец наш, объясни ей, что жизнь на земле – великая иллюзия. Там всё не то, чем кажется.

Но Всевышний молчал, быть может, потому, что ведал смятение Стеллы. Осмелившись просить себе судьбу, разве юная душа не понимала меры своей дерзости? Так пустая ли блажь её мечта?

«За всё и всегда приходится платить». Это выражение, вероятно, придумали наивные искатели вселенских истин – эзотерики или богатые циники. Пусть так, но в каждой попытке приблизиться к любой промежуточной истине, отыщется след этой мысли: законах сохранения энергии, вещества, взаимодействия сил. От всякой житейской мудрости («относись к ближнему так, как хотел бы, чтобы относились к тебе», «сколько верёвочке ни виться...») неизбежно приходишь к формуле возмездия. Единожды заведя, как часовой механизм, закон возмездия, Всевышний ни с кем не вступает в прения и ни для кого не переводит стрелок. «Просите, – и дано будет вам», – говорится в Библии. Только не забывайте об отплате. Мечты сбываются, но насладившись исполнением, приготовься отрабатывать выпрошенное счастье.

Стелла понимала это, собиралась всеми силами и каждой минутой жизни оправдывать милость, которой жаждала. Ради балета она могла без сожаления отказаться от всех будущих судеб, что выпали бы на её долю. Она искренне просила прощения за дерзость, готовясь ко всем невзгодам во исполнение возмездия.

И свершилось. Юная душа исчезла из космического безбрежия. Она вдруг помчалась с такой сумасшедшей скоростью, что пространство вокруг словно бы сузилось, вытянулось в русло, аркаду, тоннель без звука, без света, без дуновения.

Стелла пропала в космосе, чтобы появиться на Земле...»

3

Это всё, что оказалось в вордовском документе «Повесть». Ещё кое-какие наброски хранились в папке на флэшке. Они касались одной, напумевшей в недавнем прошлом странной истории исчезновения известной артистки.

С чего бы очерк к годовщине этого события поручили мне, а не более опытному коллеге, – вопрос, которым я тогда не задалась, но за работу взялась с жаром начинающего журналиста. История – шаг за шагом – открывалась мне, но когда картина заполнилась всеми деталями, стало понятно, что я не могу явить её читателю. Почему? Да Бог его знает...

Думаю, всё дело в тайне. Существуют журналистские истории, то и дело возникающие в разных источниках в течение десятилетий, и всякий раз они, обогащённые новыми будоражащими подробностями, притягательны для читателя. Тайны бермудских треугольников, перевалов дятлова, предсказаний провидицы изучены, исследованы вдоль и поперёк и

вот-вот, кажется, будут громогласно раскрыты перед читателем, но нет: ни внезапные подробности, ни новые свидетели ничего ровным счётом не прибавляют и не отнимают у тайн века. Чем очевиднее новое объяснение тайны, тем больше отыскивается новых загадочных аргументов, но и чем аргументы проще и логичнее, тем абсурднее их толкование, и тем меньше шансов докопаться до истины. Не потому, что загадки очень уж сложные, а потому что тайна не должна быть раскрыта, – вот в чём тонкий и грубый мир единой души, хоть и не сговаривались! Пока тайна остаётся собой, интерес к ней не иссякнет, и на хлеб журналисты всегда заработают, с условием, что будут находить новые и новые странные обстоятельства, уводящие от разгадки.

Ни к чему лишний раз говорить о том, насколько не свободен в своей профессии журналист, а в отношении с тайнами человечества свобода его творчества – полная иллюзия. Она возможна только в художественной литературе.

Мой очерк о Стелле Велижевой, написанный в духе правильной коммерческой загадочности (чтобы газета раскупалась), тогда опубликовали. Но море всего, что я узнала, обдумала, заключила по ходу расследования, осталась разрозненными записями в электронной папке «Дневник». Могла бы получиться повесть, но я не сумела взяться за неё как следует...

Случается, жизнь, работа, самоё существование, смерть открываются как суть единого колоссального действия, заскочить в него или выскочить по желанию, как из трамвая, немислимо. Кто бы ни был, ты движешься в едином русле вместе со всеми. И только в пределах этого потока ты кое-что можешь выбрать, но зачем тебе право выбора, если глобально человеку ничто не подвластно?..

Опасно искать ответ на этот вопрос. Поиск может стоить здоровья, карьеры, семьи, – всего, что дорого и значимо в нашей микроскопической жизни.

Повесть моя потому и не удаётся, что главный ответ лежит за пределами человеческого размышления, но Всевышний милостиво позволяет поиграть с предположениями.

Глава первая. *За кулисами*

Довольно густой, но не суетной толпой мы стояли за кулисами позади сцены громадного, безликого, страшного своей не одухотворённостью зала.

Для нас, жителей третьего тысячелетия, «гений места» – уже не дух красоты природы, как верили римляне, а философия, атмосфера не только роции или озера, а всего, в чём чувствуется связь с древней историей, культурой, религией. Гений этот, аура эта, веками настаивается под сводами старинных театров, в церквях, замках и дворцах. Не то наш городской концертный зал. Кажется, ничем таким напитать его невозможно до скончания времён. Любые эмоции, любое очарование исчезают в нём бесследно, как в чёрной дыре.

Наблюдая, как воспитанницы хореографической школы в лебяжьих пачках прохаживаются туда-сюда, почему-то всё время глядя на свои пуанты, я полушёпотом восхитилась:

– Какие грациозные!

– Не скажи, не все, – притушила мои восторги Нинель Георгиевна Соболевская, преподаватель, сопровождающий девушек-танцовщиц.

Юные балерины ждали вызова на сцену, потому что в зале-монстре происходило событие областного раз-

маха, важность которого я не старалась понять. От меня и не требовалось. Я здесь по заданию редакции служила искусству – отвечала за выход артистов к публике согласно сценарному плану. Заодно набирала материал для очерка.

Артисты понимали порядок выходя на сцену не хуже меня – читали наклепленные на стенку списки и потому знали номер своей очереди.

– Все, словно фарфоровые статуэтки, – лепетала я о балеринах. – Что за ножки, талии, плечи...

– Как сказать, – не соглашалась Нинель Георгиевна. – Взгляни на девочку, которая стоит вполоборота к нам. А теперь вон на ту. Каково?

Я, не слишком искушённая натура, без сравнения, предложенного Соболевской, не сумела бы ничего подметить, но и разглядела немного: у стоящей поодаль балерины линии икр, щиколоток – словно бы очерчены летучим касанием пера. При кажущейся лёгкости, линия эта уверенна и точна.

– Приглядишься к их спинам. Что видишь? – прошептала, склоняясь ко мне, Нинель Георгиевна.

Я не видела ничего, кроме того, что девочка с картинными ногами была чуть выше подруги.

– Лопатки, – подсказала Нинель. – Сравни. У той они обыкновенные, а у этой – параллельно спине. А плечи? Каково?

– Погодите, Нинель Георгиевна, я видела ту, с обыкновенными, как вы говорите, ногами и лопатками, в танце. На прошлой неделе, помните? Она танцевала с такой страстью... Вы её хвалили.

– Хвалила. – Согласилась Нинель. – Девочка действительно превзошла себя. Но как бы сказать... Она отдавалась чувству, а не музыке. Истерика вместо танца. Сдержанные эмоции в движениях куда сильнее впечатляют умную публику, чем выложенные и выра-

женные. Страстность танцовщицы граничила с вульгарностью или пародией. Ты должна меня понять, ты ведь пишущий человек, творческий. Но если вернуться к началу разговора, то посмотри и на лица. Плюс трудолюбие. Чертовское, адово... Наверное, я кажусь жестокой, но понимаешь, танцевальное искусство требуют от балерины ног, лопаток, лица... Всё, всё должно служить единственной цели – высоте мастерства. Из этой (с параллельными лопатками) получится звезда, а из той – хорошая танцовщица, может быть, самая известная в провинции... При этом я не берусь пророчить, чья стезя в итоге окажется более счастливой.

Слава Богу, девочки-балерины приглушённых слов своей патронессы не слышали. Наши мечты – те, которые цели, – прекрасны, но путь к ним подчас жесток и труден, а самый честный учитель вправе поведать ученикам лишь часть этой формулы.

Нинель не рассказывала, но все в городе знают, что она была первым серьёзным педагогом Стеллы Велижевой, равной которой в ближайшие столетия не будет ни на одном континенте. Загадочная судьба гениальной танцовщицы породила дебри домыслов, пересудов, небывальщины. Все кому не лень на атомы разобрали жизнь артистки и сто раз раскрыли тайну её исчезновения.

Но когда все знают всё, это означает: никто ничего не видел, не слышал, ничему не был свидетелем. Искатели правды, то есть сенсаций, упорно не задают вопросов Нинель Георгиевне о том, например, каким ребёнком была Велижева, как училась, с кем дружила. Честность Соболевской журналистов не прельщала. Ничего сногсшибательного они не узнали бы, ведь всё, что можно, уже озвучено, оболгано, обмусолено пером и языками сотни раз, и правда в этой куче словесного мусора – не самая интересная находка. Причастность к судьбе

знаменитой ученицы стала для Соболевской, как ни странно, защитой от чужого любопытства.

Нинель стара, темна лицом и спокойна, как памятник. Нелестные для женщины слова, хотя в этом облике она пребывает настолько гармонично, что с первой минуты знакомства начинаешь уважать её, а со второй даже и любоваться ею: существует особенная красота в человеке, честно исполнившем отпущенную ему судьбу.

Соболевская не металась в поисках лучшего заработка, не лезла из кожи вон ради карьеры, никому ничего не доказывала, но каждый раз выходило, что её работа сама всем всё доказывала. Стелла Велижева действительно училась у Нинель Георгиевны. У кого же и постигать в нашем городе искусство танца? Хотя могло сложиться иначе, если бы не ещё один человек.

Глава вторая.

Лидия Ивановна Каретникова

Девочки разных возрастов сидели на полу, на низкой скамейке по обе стороны от преподавательницы, стояли, опираясь на станок. Шёл оживлённый разговор, конца которому не предвиделось.

После занятий, особенно, если репетиция прошла удачно, студийки Лидии Ивановны Каретниковой устраивали разговоры «по душам». Она порой удивлялась, на какие вопросы готовы тратить время её ученицы. Им бы бежать уроки учить, гулять, с книжкой на диване валяться, а они усаживались тесной группкой, спрашивали и, слушая ответы, сидели так тихо, что слова Лидии Ивановны звенели в зале, как глас провидения.

Почти всегда разговор заводили старшие девочки, к ним подсаживались младшие. Малышки мало пони-

мали из того, о чём спрашивали старшие, но само участие во «взрослых разговорах» наполняло время после репетиций неизъяснимым очарованием для них. Они не уходили, хотя многих за дверью ждали родители.

– Зачем жить, если потом умирать насовсем? Это неправильно, – спросил кто-то из студийцев.

Лидия Ивановна помолчала. Когда-то она много размышляла об окончании земного бытия.

– Хороший вопрос. Думаю, смерти вообще нет. Мне иногда кажется, будто люди, да и не они сами, а их внутренние «я», умирая, превращаются в такие... комки светящейся энергии, наподобие звёзд. Но это только те, чьи плоды жизни не становятся прошлым. По крайней мере, долго.

– А какие плоды не становятся прошлым?

– К примеру, писатель написал замечательную книгу. Работа над ней в прошлом, а сама книга? Её читают десять лет спустя, сто... Она есть в сегодняшнем дне, переходит в завтра. Пушкин творил в далёком прошлом, а его стихи живут поныне. Также Шекспир, Менделеев, Ломоносов, Кирилл и Мефодий... В том, наверное, высшее счастье человека, чтобы плоды его мастерства и забот жили дольше создателя...

– Смотрите, Лидия Ивановна, молодыми могут умереть и гении, и обычные люди, и пьяницы какие-нибудь... Пьяница, допустим, сам виноват, а зачем надо, чтобы гений рано умер? Пусть Бог дал бы гениям жить подольше – они больше открытий сделали бы, полезного изобрели, книг, картин написали...

– Тут, вероятно, дело в личной или всеобщей задаче. Иными словами, у каждого таланта на земле своё задание.

– Оно есть только у гениев или у всех?

– Гм... У всех миссия одна: оставить на земле добро. В каком именно деле ты его воплотишь – это задача

каждой отдельной судьбы. Надо только помнить: если у тебя не получаются талантливые стихи, можешь оставить после себя картину или мелодию. Если и они не выходят, можно воспитать сына или дочь, у которых это получится. Можно лечить людей, животных, бескорыстно заботиться о бездомных. Любое благое дело может стать твоей миссией.

– И значит, раньше умрёшь? Ведь чем скорее и больше сотворил добра, тем раньше тебе нечего будет делать на земле?

– Не факт, но как получится. Может быть, оценивая количество добрых дел, высшие силы дают потом человеку повторную жизнь...

– А если мне вторая жизнь не нужна? – спросила худенькая девочка-сирота, обычно молчаливая, но в таких беседах словно оттаивавшая.

– Если не нужна, душе твоей найдётся судьба на небе или ещё где. Разные есть миры. И разные души. Возможно, какие-то сами просятся на Землю, даже прожив здесь когда-то несчастливый, трудный и обидный век. Таких высший разум охотно отпускает сюда снова.

– Глупые это души. Если здесь плохо было, а в раю хорошо, зачем снова сюда проситься? – не сдавалась малышка из детдома.

Ребята и учительница заулыбались.

– Может, потому что они умели прощать? Нам всем надо учиться забывать обиды. Самая страшная, но и самая нужная на свете вещь – забвение. Есть большое зло, священное. Его нельзя забывать, иначе оно повторится. Остальные обиды забывать необходимо. Всё, что забыто, не существует уже нигде. Но добро, даже маленькое, стоит помнить, оно укрепляет душевные силы и порождает желание служить ему. Потому-то и отплачивать надо не зло, а добро, так его станет больше... На сегодня достаточно. Ваши роди-

тели заждались. Кто со мной остаётся – тоже переоденьтесь, одежды-сумочки не забывайте.

– Я всегда хотела быть звездой, только настоящей, небесной, – сказала худенькая девочка, которая не хотела второй земной жизни.

Каретникова улыбнулась ей, погладила по голове и легонько подтолкнула в сторону раздевалок. Лидия Ивановна редко соглашалась на послеурочные разговоры, но её размышления нравились воспитанницам, среди которых было несколько девочек из районного детского дома. Каретникова жалела их. Ей не повезло стать матерью, но она никогда без детей не жила. Про особенности возраста, про то, как непросто складывается характер ребёнка, Лидия Ивановна знала глубже и основательнее любой матери, тем более из тех, чьи брошенные дочери сейчас с затаённым восторгом слушали свою воспитательницу-хореографиню.

Лидия Ивановна руководила хореографической студией. Поскольку зарплата хореографа в городском центре культуры была крошечной, а работать воспитателем в детский дом особо никто не стремился, на предложение взять полставки воспитателя Каретникова охотно согласилась. Как воспитателю ей достались малыши. Они же отчасти наполнили и младшую группу её танцевальной студии.

Подопечные оценили доброту новой наставницы, не колеблемую никакими детскими шалостями, любовь, держащую всех на равном от себя расстоянии, порой строгую, но на это никто никогда не думал обижаться. Суровостью, если она справедливая, детей не напугаешь. Да и обиды в детдоме – невозможная роскошь.

Ребёнком Лида подавала немалые надежды. В хореографической школе, куда её семилетнюю отвела мама, на девочку нарадоваться не могли. Вообще в тот год подобралась на редкость для областного города силь-

ная балетная группа. Правда, до высшей танцевального искусства, до славы никто не добрался. Семейные доходы не позволили и Лиде учиться в Москве. Так в самом начале судьба сделала за девочку первый жёсткий выбор, а потом ещё раз, куда более безжалостный. Лида училась на пятом курсе хореографического отделения местного института искусств и культуры, когда умерла её мама.

После похорон матери Лида надолго, на месяц или больше, потеряла ощущение холода, голода, усталости. Не было даже отчаяния – пустота-а-а... В уме девушки появилась до странности настойчивая жажда понять логику смерти, её законность в каких угодно пределах – личных, планетарных, вселенских. Но хоть говорят, что случайности не случайны, в Лидиных размышлениях причины и следствия упорно не хотели увязываться какой-нибудь резонностью. Девушка измучилась этой никак, ничем не подытоживающейся мыслью, избрела едва не целую философскую теорию, которая в одночасье оказалась погребена под радужными восторгами любви.

Но выйти замуж Каретникова не сумела. Парень исчез, как только невеста забеременела. Новорождённый умер на первой минуте жизни. Лида смотрела на неживое дитя и снова сосредоточенно думала: какая Богу необходимость забирать жизнь, едва дав её? Неужели у Него не разрывается сердце при взгляде на багровое, успокоенное смертью личико? В чём смысл таких решений? Молодой женщине казалось, что едва она постигнет эту тайну, ей станет легче. Она поймёт и оправдает Его деяние, лишь бы знать, что оно необходимо, что другого быть не могло. Но и на этот раз откровения ей не случилось.

Исхудавшая, опутанная волнистыми безжизненно тусклыми смоляными волосами, с меловым лицом

в синих жилках под глазами, она челноком бродила по больничному коридору, почти сошедшая с ума в истовой думе об одном и том же.

Выписавшейся из больницы Каретниковой предложили основать в центре культуры хореографическую студию. Чтобы набрать первую танцевальную группу, Лида ходила по школам, агитировала девчонок и мальчишек. Добралась и до детского дома. С сиротами она быстро подружилась, и вскоре ей уже удавалось не думать о неурядицах собственной жизни. А потом, довольно скоро, почти неожиданно, пришли победы её студийцев в областных, окружных, всероссийских танцевальных конкурсах. С того времени не Лида-Лидия Ивановна ходила искать желающих учиться танцевать, а к ней выстраивалась очередь. Помимо идей всевозможных рисунков будущих танцев, в голове Каретниковой постоянно громоздились планы по розыску денег на гастрольные поездки, пошиву костюмов, приобретению добротного музыкального оборудования. В такой загрузке она жила и состарилась, сама того не заметив.

За судьбой сокурсниц по хореографической школе она не следила, но слышала, что двое остались в школе преподавать, некоторые переехали в другие области, никто не завоевал московской известности и не появился на телеканале «Культура». Каретникова предпочитала один этот канал, но, по правде сказать, из танцевальных телепостановок, иные проигрывали тем, в которых по молодости участвовала она и её подруги. Дело тут не в предвзятости уездной неудачницы. Огромный опыт работы в том числе с «нулевыми» детьми безошибочно подсказывал ей границы возможностей будущих танцовщиков. Она понимала, что не каждый способен исполнять что угодно. Один хорош в классической постановке, другой – в народной, и если поменять местами, в танце появляется масса нужных

или ненужных деталей. Глядя на движения ребёнка, Каретникова мысленно помещала его в предположительный танец и оценивала, как всё будет. Так потом и выходило. По индивидуальному танцевальному стилю Лидия Ивановна понимала, в чём ошибки постановщика.

Талантливым детям из глубинки редко выпадает удача показаться мастерам, учиться у знаменитостей, добиться известности. Но ведь разработаны же программы поддержки одарённых детей... Кому эта поддержка достанется? Разузнать бы. Так Лидия Ивановна размышляла наедине с собой, этим донимала руководство центра, а после шла на занятия в студию, бежала в детдом, жизнь её продолжалась устоявшимся порядком.

Однажды в детском доме появилась девочка с чудным именем Стелла. Лидия Ивановна сразу заключила, что малышке стоит заняться хореографией, и на первом же просмотре почти потеряла голову от того, как двигалась, как чувствовала музыку маленькая неразговорчивая дикарка. Хореографиня не стала расхваливать новенькую, но с того дня померкли все достижения, вся прежняя жизнь Лидии Ивановны, и стало страшно. Чему, как наставлять этого ребёнка? Каретникова ходила из угла в угол, растирая ладони – волновалась. Но учение пошло. Стелла понимала и принимала указания, во всём слушалась, а наставница требовала и требовала отточка каждого полудвижения.

Сначала молчаливый ребёнок раздражал Каретникову неумением откликаться на заботу и внимание. Потом учительнице стало неловко за своё педагогическое бессилие – остро хотелось сознавать, что её занятия всё-таки идут на пользу таланту. Летели дни. Изобретая новые подходы к преподаванию, Лидия Ивановна привязалась к сироте, хотя та не давала повода – оставалась замкнутой, исполнительной, не больше. Но когда

девочка танцевала, многое для Лидии Ивановны было в ней читаемо: чуткая душа и всякое чувство, хотя жизненный опыт девочки не мог подсказывать ей таких переживаний и способов их выразить. Откуда в маленьком существе столько всего? Казалось, вся необозримая история человеческих чувств просвечивала в танце девушки. Лидия Ивановна прощала отчуждённость подопечной, верила, что та непременно вырастет человеком высокой души, и в конце концов решила сделать всё возможное, чтобы открыть малышке дорогу на большую сцену, дать шанс, какого не было в молодости у самой Лидии Ивановны. Каретникова впервые подумала о своей однокурснице.

Глава третья. *Две женщины*

Каретникова без труда нашла телефон хореографического училища и позвонила. Разговор с бывшей сокурсницей получился сухой, деловой. Нинель Георгиевна не сразу поняла, кто звонит, а когда поняла, удивилась.

Лида и Нинель считались лучшими балеринами на курсе, но подругами не были. Завидовала ли одна другой? Пожалуй, только Лидия. Немножко. Нинель же была сдержана и рассудительна, в ней всем управлял недюжинный ум, который не давал воли лишним переживаниям. Другое дело – в танце. Правда, хореограф замечала, что техника Соболевской безупречна, а вот артистизм «прихрамывает». Слабинка Нинели позволяла Лиде с её чарующей танцевальной образностью не мучиться от чрезмерной зависти.

И вот они слышали друг друга. В голосах не сквозила радость, но не было и неприятия, потому что каждая умела ценить людей за труд.

Соболевская считалась в хореографическом училище лучшим педагогом и потому выработала ряд личных привилегий. Она могла не повышать голоса, – её все и всегда готовы были слушать. Уверенная, что при скромных доходах обладает куда более весомым богатством – мастерством, она позволяла себе быть принципиальной, публично выказывать презрение к халтуре. Соболевская отличала только с тех, кого уважала за мастерство или хотя бы за честное желание служить своему делу. К остальным могла в любую минуту развернуться спиной.

Нинели в жизни не довелось ничего выбирать. Она принимала всё и терпеливо обживалась в том, что подбрасывала ей судьба. Лучшей из всего курса, ей предложили остаться в школе преподавать, посулив содействовать в заочной учёбе. Соболевская осталась, сообразив, что вероятность устроиться работать, скажем, в Московской балетной академии равна один к тысяче. Склонить фортуны к пользе для себя можно бы какими-нибудь преимуществами, а у неё, считала Нинель, их не больше, чем у всех балерин, равных ей, а ведь есть и те, кто получше.

Когда концертмейстер Сойкин предложил замужество, Нинель согласилась. Жених не выставил избраннице никаких «или» – семья или профессия, муж или творчество, – и Соболевская оценила это. Природа не обидела Нинель здоровьем, а роковых перегрузок судьба не послала. Её с Сойкиным дети не пошли по следам родителей, но это радовало супругов: творческая жизнь далеко не всем по силам, а плоды её иллюзорны. В этой семье никто никого ни к чему не принуждал, а умели существовать в том, что есть здесь и сейчас. Так что получалось, жизнь выбирала за Нинель, а та просто принимала её послания. Или не просто, но эти тайны Соболевская прочно держала в безднах души и

открыла бы их только Всевышнему в день страшного суда.

Она внимательно выслушала Каретникову и согласилась встретиться.

Утром означенного дня Лидия Ивановна объявила Стелле:

– Девочка моя, мы едем в хореографическую школу. Я договорилась, тебя посмотрят. Сама Нинель Георгиевна Соболевская.

Стеллу Велижеву приняли в класс Соболевской. Девочка училась не просто прилежно – пугающе неутомимо. После занятий Нинель Георгиевна долго сидела в классе и думала над тем, откуда в щуплой девочке столько неосознанных знаний, столько стремления и правильного наития.

За Стеллой к концу занятий приезжала Каретникова, чтобы отвезти в детский дом. Нинель мало разговаривала с Лидией, но однажды окликнула:

– Погоди-ка, Лида, сядь со мной. Пусть Стелла пока переодевается.

Женщины посидели молча, потом Нинель спросила:

– Что делать будем? Стелку бы в Питер, Москву... Что я ещё могу? Ей тут неинтересно. Ещё год застоя – и потеряем балерину.

– Надо бы, конечно, в Питер, Москву, – бесцветным, безнадежным эхом откликнулась Каретникова. – На какие деньги?..

– Да уж... Здесь ты своими платишь, а там – как?

Разговор в тот день никаким решением не закончился. Однако вела женщин по этой дороге благосклонная звезда. Грант ли, стипендию ли выхлопотали они своей любимице да собственные деньжонки подобрали. Забота о молчаливой отстранённой ученице была Лидии Ивановне по сердцу. Она радовалась бы Стеллиной благодарности, как награде за все свои уси-

лия, но не получала её и не обижалась. Что с бедняжки возьмёшь? Выйдет в люди – довольно и этого.

Не то чувствовала к Стелле Нинель Георгиевна. Из года в год, десятки лет хореографиня тщательно учила, радовалась победам, разбирала промахи воспитанников, выпускала их в жизнь, опять набирала новичков, чтобы и с теми в должное время проститься, не ожидая за труды пожизненной признательности. В девочке-заморыше Нинель видела свою миссию – сделать всё возможное, чтобы развить талант, зажечь его звездой для всего белого света. Соболевская не нуждалась в Стеллиной любви или благодарности, но над погибшим талантом рыдала бы, как над трупом горячо любимого человека, и впредь не смогла бы считать себя педагогом. Нинель Георгиевна понимала: Стеллин дар – свыше, и не её, Соболевскую, за то следует благодарить. Это она должна поклониться судьбе за возможность работать с небесно одарённой балериной.

Глава четвёртая.

Стелла

А Стелла любила танец, служила ему, как богу, видела смысл жизни только в нём. Нельзя сказать, что люди ей были безразличны. Но она отличала для себя только тех, кто так или иначе связан с балетом. Если на лестнице творческого роста следующая ступень требовала отказа предыдущей, девочка охотно расставалась с прошлым, ни о ком не жалела, полагая, что так думают и поступают все. Она никого с собой не звала, шла к высотам с лёгкой душой, пока ещё не обременённой простыми и самыми обычными человеческими чувствами. Хотя, может, это и не совсем так, ведь девочка не открывалась никому. Подруг у поцелованных Богом людей

не бывает, потому что одни обижаются на кажущееся бессердечие гениев, другие завидуют им, а для третьих гении – диковинный зверь в зоопарке: на них можно смотреть, но не стоит протягивать к ним руки.

Стелла родилась тяжёлым, голенастым ребёнком у матери-подростка, которую саму бы ещё конфетами кормить и куклами радовать. Горе-мать тут же от новорождённой отказалась, успев оставить ей заковыристое имя, свою фамилию, и сбежала. Младенчика через время оправили в дом малютки, а там и в детский дом.

Постоянная память в девочке проснулась, когда по телевизору показывали балет. Вечерами, после отбоя воспитатели и медсёстры смотрели развлекательные программы. Малютка со взрослым именем Стелла в приоткрытую дверь увидела сцену из балета «Щелкунчик» и поняла, чего хочет больше всего на свете. Но поняла это так, будто всегда знала. Сирота смотрела на вспархивающую балерину, видела в ней себя, и вера в собственное балетное будущее соперничала в неотвратимости разве что со смертью.

Девочка была молчалива, но не робка. Бесстрашна так, что взрослым становилось не по себе. Казалось, она смотрит на жизнь с интересом учёного: отстранённо анализируя. Если бы не ребячья наивность, невольно думалось, что растёт циничное, безжалостное существо. К тому же высокомерное. А девочка просто не умела открываться в чувствах, не знала, что надо как-то показывать своё отношение к жизни.

К плохим и хорошим отметкам в обычной школе ученица Стелла Велижева относилась равнодушно, считая второстепенным делом, пока ей не объяснили, что поступление в хореографическое училище немислимо без приличных оценок по школьным предметам. Во всяком случае, они не лишние. Стелла взялась за учёбу, впиалась умом и чувством и одолела эту гору.

Девочка не догадывалась, что за её обучение в хореографической школе Лидия Ивановна платит своими деньгами и это – немалая великодушная жертва. Если бы Стелла всё же догадалась, то сочла деньги потраченными не на её личную судьбу, а положенными на алтарь искусства. Маленькая танцовщица просто-душно верила, что служить могут и должны танцу все, кто чем может.

В Московское хореографическое училище Стеллу приняли. Не могли не принять, хотя в головах двух уездных преподавательниц до того роились всевозможные страхи. Прощаясь с подопечной, Нинель, а больше Лидия испытали что-то вроде грустной гордости за всё, что удалось и чего в их жизни никогда больше не будет. И Стелла чувствовала себя отнюдь не триумфатором, хотя по её лицу мало что читалось.

В училище юные балерины посмеивались над странной провинциалкой, которую в столице, кроме театров, ничего не интересовало. Стелла не принимала участия в девичьей щебетне о платьях и туфельках, хотя обладала любопытным умением носить одежду: изящно, непринуждённо, сознавая достоинства платья и себя в нём. Любой наряд смотрелся на ней удачной покупкой. Никто никогда не учил её этому, и сама она не замечала в себе этакое искусства.

Главная красота девушки, пожалуй, заключалось в молодости и грации, – вот уж чего в училище хватало с избытком.

Назвать лицо Стеллы красивым можно было, лишь дав себе время рассмотреть его: узкое, со светлыми бровями, не то голубыми, не то зелёными глазами. Смугловатая кожа и русые волосы делали бы её незаметной, если бы не манера двигаться.

Девушка двигалась без суеты, раскованно и спокойно, глядя вокруг себя рассеянным взглядом, чуть прищу-

рившись, с тенью улыбки в уголках губ. Она казалась заключённой в невидимый, сверхпрочный защитный кокон, и потому окружающие робели подходить к ней запросто. Походка, движения рук, головы, бёдер, не поведение, а ведение себя неосознанно сообщали окружающим о внутренней свободе и одновременно обособленности девушки. Во всём её облике читалось что-то надмирное. Стеллой хотелось любоваться, её хотелось разгадывать.

То ли ещё было на сцене. На танцующую Стеллу мало кто мог смотреть равнодушно. Мир образов, созданных ею, заставлял плакать, восторгаться, сходить с ума тех, кто умел наслаждаться искусством балета. Тех же, кого не увлекала история героини постановки, волновала движущаяся по сцене женщина, лёгкая, стремительная, неуловимая, как звёздный луч, исполненная стольких тайн, что познать их не хватит тысячи и одной ночи. Но и наиболее земной, понятной Стелла предстала именно в танце. Холодная и отстранённая в жизни, на сцене она пылко, преданно любила, тосковала, наслаждалась счастьем или горевала, ей верили и страдали.

Обыденный мир Стеллу не привлекал и не вызывал никаких значимых эмоций. Подломись под ногой ступенька, разойдись по швам платье, обрушья на голову ведро воды, – всё это остановило бы балерину лишь на минуту: она удивлённо оглядела бы себя и пошла прежней дорогой, не задаваясь вопросами за что, почему ей такие неприятности.

Стелле насыпали кнопок в пуанты, подпарывали швы на костюмах, обрызгивали краской пачки, – всё это мало заботило балерину, если в итоге не срывало выход на сцену.

После училища Велижева сразу попала в ведущие артисты, слава её быстро ширилась, обрастая тай-

нами и сплетнями, в которых балерину представляли то пошлой недалёкой девицей, то расчётливой интриганкой, но она всегда была не то, что о ней говорили. Ею восхищались, её ненавидели, пытались втереться в доверие, обкрадывали, страстно, болезненно любили. Ничто не вызывало её радости или сожаления. Со Стеллой работали арт-директора – вороватые распорядители концертной деятельности, возле неё крутились девушки, набиваясь в подруги, но на деле грезившие хоть о какой-то славе, – все они довольно скоро исчезали. Стелла не пыталась вернуть людей, украденные деньги, а меньше всего – чьё-то расположение. Она ни с кем не судилась, никого не призывала к ответу, мужчин поклонников не видела в упор и тем распалая общество не на шутку.

Долго ей могли служить только те, кто искренне преклонялся перед её талантом и не ждал ничего, кроме того, что она вообще могла дать – волшебных, несказанных спектаклей. Таких людей в Стеллином окружении вращались единицы, но и к ним балерина была равнодушна – не знала, что за служение нужно любить, быть благодарной, по крайней мере, чувствовать признательность. Эта невеликая бескорыстная свита и оберегала Велижеву от навязчивости толпы, создавала ей быт, в котором главное – это время для репетиций, то есть едва ли не целые сутки, и, хоть краткий, но неперенный сон.

Глава пятая. *Дашенька*

Даша была вся земная. Её большое грузное тело, румяное лицо, короткие пальцы с короткими же ногтями, – всё словно бы сообщало окружающим о ней,

как о приземлённом человеке. В годы супружества она, как мамка, носилась с мужем – совершенным ребёнком, которого нашла ещё в институтскую пору и обихаживала, будто душевно больного, работая на трёх работах, за каждую из которых ей было неловко. На них она не столько уставала, сколько чувствовала себя неудовлетворённой.

Вернувшись глубоким вечером с работ домой и застав благоверного на диване с планшетом, Дашенька, не снимая пальто, села за стол, отвернулась к тёмному окну и стала смотреть на своё отражение. Резкий вскрик вывел её из задумчивости:

– Ы-ы! Долбаный уровень...

Это прозвучало настолько верно, в самую точку, как раз про её собственную жизнь, что Дашенька повернулась к супругу в минуту, когда тот отшвырнул планшет и закурил – не смог пройти очередного уровня в какой-то игре. Молодая женщина рассматривала мужа с новым для себя интересом и вдруг поняла, что выбраться из собственного внутреннего плена есть до жути простой способ: не повторять тупо один и тот же уровень, а совсем выйти из этой игры и начать другую, по своим правилам.

С тех пор Даша не мечтала – точно знала, что будет делать. Как утомлённый жарой бросается в прохладную воду, она ринулась в артистическую среду. Женщина не искала там себе покровителя, чтобы, к примеру, записать песенный альбом или издать какой-нибудь сальный романец, – сама хотела стать благодетелем. И если уж посвящать свою жизнь кому-то, то пусть это будет по-настоящему интересный, талантливый человек. Дашенька мало что смыслила в артдиректорстве, но при желании всему можно научиться – так она понимала с самого студенчества. Для неё, не слишком привлекательной внешне, «хождение замуж» не представля-

лось трудностью. Девушка прекрасно понимала, что на свете всегда найдётся кто-то, кому будет нужна именно она. О том, что избранник может оказаться негодяем, испортить жизнь, Дашенька не задумывалась, потому что нуждаться в ней могли только слабаки, а сбить её с жизненной программы не так-то просто даже сильному человеку. Для штампа в паспорте она готовилась добросовестно исполнять обязанности супруги, но жить намеревалась собственной жизнью. Замужество не являлось для неё судьбоносным событием, как для большинства девушек, это было просто решением, одним из решений. Но этап супружества закончен. Даша познала, каково быть женой, и больше эта тема её не интересовала.

Дашенька не обладала художественными дарованиями и не заблуждалась на этот счёт. Зато у неё была хорошая память и способность (как оказалось) делать правильные выводы. Она выучила ряд необходимых для жизни законодательных статей, завела полезные артистические и юридические знакомства и постаралась обрести некоторый вес, значит, доверие в творческой среде. Она умела заботиться о других и о себе. И это не значило беречь от неприятностей и проблем. Для себя она желала всего, что, по её мнению, делает жизнь полнокровной, пусть и без детей, которых врачи назвали несбыточной мечтой для неё. Дашенька хотела значимости, известности, удобства, денег, красоты окружения, общения, новых обстановок и перемен, автором и устройтелем которых являлась бы она сама. Именно так ей представлялась своя и человеческая свобода вообще: делать, что нравится, принимать собственные решения и самой отвечать за их последствия, зарабатывать деньги, ровно столько, чтобы о них не думать, не больше, чтобы они не превратились в головную боль. Даша не верила ни в загробную

жизнь, ни в возмездие, ни в житейскую справедливость, поскольку ей никогда ничто не доставалось даром. Формула жизни её была проста: что заработаешь, то и поешь.

Поэтому у неё не было трагедий. Невозможность стать любимой женщиной и матерью она воспринимала иначе, чем другие. Да, ей хотелось бы семьи, но если этого не дано, то не страшно. Она всегда знала, что обязательно найдёт применение своему материнскому инстинкту. Людей, кому Дашенька может пригодиться в любом или во всех амплуа своей жизненной истории, ей виделось великое множество.

Она отвезла мужа к его матери и стала, не спеша, и потому успешно укореняться в жизни так, как считала правильным. На этом-то пути её интересы, надежды и желания сошлись на Стелле. Даша стала ей кем-то вроде директора, а по сути – целым штатом необходимых людей: матерью, подругой, секретарём, врачом, юристом и прочая, прочая. Она сходу определилась в том, с чего должна начаться удобная жизнь балерины – прежде всего, с собственного коттеджа, за городом, в охраняемом посёлке, куда трудно проникнуть бесчисленным городским суетам.

Глава шестая.

Слава

Слава жил в небольшом областном городе и ездил в Москву на старом, но надёжном, благодаря отцовским волшебным рукам, «ауди». Сколько парень себя помнил, всегда искал одобрения отца, которого считал идеалом человека. Отец юноши служил кадровым военным. Всю жизнь он принимал жертвы от семьи, мотавшейся с ним по всей стране, не зная уюта, покоя,

уверенности в судьбе. Выйдя на пенсию, полковник решил посвятить себя жене и сыну, создать для них такие условия, которых они давно заслужили своей преданностью, пониманием и стоическим терпением. От сына он не ждал повторения своей судьбы, армия не была самоцелью. Зарождающиеся в мальчишке человеческие качества лучшего, высокого свойства отец приветствовал в любых проявлениях. Слава поступил в технический вуз, занялся парашютным спортом, – считал это мужским выбором, к тому же, любил небо. Любил, исходя из романтики того, о чём читал, а это, конечно, рассказы и повести о войне, лётчиках, подвиге. Благодаря литературе и кино в душе мальчика, потом подростка, юноши в образе неба соединилось всё: возвышенная героика жизни, сила и мужество. Сокурсники звали в горы, но Слава отказался, потому что свободное падение с высоты считал большим преодолением, чем подъём.

Когда парень учился на втором курсе, отец умер от инфаркта. Это произошло настолько быстро, что принять факт смерти, примириться с необратимостью несчастья оказалось непросто.

Но приходил в себя Слава недолго. Глядя на опускающийся в могилу гроб, он твёрдо решил: всё в их с мамой жизни останется так, как при отце, то есть, идеально удобно. Наладить такую жизнь сходу не получалось. Если, оставив на время хозяйственные дела, юноша решал проблемы с пересдачей зачётов, рано или поздно оказывалось, что крыша в доме протекает, и надо ещё понять, как её починить. Пока латалась крыша, рефераты и контрольные превращались в «хвосты». Проблемы как будто ждали, пока главного хозяина не станет, и градом посыпались на юношу, понуждая его постоянно взвешивать, устанавливая очерёдность задач и решать по мере поступления.

Парашютный спорт пришлось на время оставить. Желание не просто походить на отца, умельца на все руки, а внутренне ему уподобиться, заставляло Славу постигать всякое ремесло, нужное для дома, мамы, вообще для жизни. О том, чему не успел научиться у отца, юноша спрашивал у соседей. Советы слушал охотно, но от помощи по возможности отказывался – хотел всё сам. На подмогу звал только тогда, когда предстояло большое нескорое дело, но с условием, что обязательно будет лично во всём участвовать.

Постепенно навыки умножились, а к отцовскому гаражу присоединилась уже Славина мастерская, где имелось всё, что может понадобиться предусмотрительному хозяину. Иной раз и к Славе соседи приходили за советом, звали в помощники. Жизнь молодого человека выстраивалась, как образцовая усадьба, в которой не было места случайностям. Их с матерью хозяйство он как следует освоил, потому знал срок, когда чему начать распадаться. Это избавляло от излишних трат времени и сил.

В учёбе Слава давал себе слабину, но умел договориться о передаче зачёта, темы, практикума.

Он пробовал вернуться к спорту, к парашютам. Не получилось. Спорт не прощает иных предпочтений. Юноша сломал ногу в момент приземления – не рассчитал, чего-то не учёл, может быть потому, что его ум часто бывал отвлечён разными иными заботами. Счастье, что не случилось худшего.

Время шло. Пока нога заживала, Славина учёба подтянулась – благо от занятий ничто не отвлекало. Единственное, с чем нельзя было мириться – с отсутствием заработка. Незадолго до перелома парень наладился ездить по усадьбам и выполнять работу на заказ: затейливые перила, усадебные беседки, поленницы, теплицы. Мама тоже работала, но разве то, что пла-

тят в городской библиотеке, можно назвать заработком? Двойную такую сумму Слава мог заработать за пару выходных. А мама, хоть ни на что не жаловалась, заметно ослабела и охладела ко всему на свете. Что-то надорвалось в ещё не старой женщине. Она стала уставать, часто задумываться. Славе пришлось поднимать себя на ноги как можно быстрее.

Несмотря на сложный перелом и долгое восстановление, а может, благодаря им, жизнь Славы продолжала двигаться к ещё более отлаженному состоянию. Во всяком деле, считал Слава, важен метод, алгоритм, который либо существует, и тогда его нужно просто понять и применить, либо его нужно составить, вывести из накопленных и усвоенных уже знаний, умений, действий. Жизнь тем результативнее и насыщеннее, чем вернее твой алгоритм. Молодой человек вообще стал подозревать, что в основе жизни лежат не более двух-трёх универсальных правил или даже всего одно. Выразить в словах это правило, этот закон он пока не мог, но чувствовал, что близок к открытию. По Славинному разумению, алгоритм должен быть чист от допущений, исключений из правил, коими насыщены все человеческие науки. Истина проста. Она даже ему снилась несколько раз, но проснувшись, он не мог вспомнить сути.

А потом появились странные мысли. Стоило парню заняться монотонной работой – вытачивать, красить, шлифовать, – его вдруг останавливала внутренне прозвучавшая фраза, которую хотелось продолжить, развить, может быть, подобрать к ней рифму. Слава замирал, слушал мысли, напрягал мозг и всё-таки сбрасывал с себя задумчивость усилием воли. В такие минуты он был недоволен собой: «творческие зависы» не встраивались в философию его жизни, разрушали теорию единого алгоритма.

Иногда он в сумерках смотрел на звёздное небо, испытывая непонятную тревожную тоску. Он считал её душевной слабостью, оправдывал тем, что постоянное напряжение сил и воли иногда требует разрядки, и заглушал, чем мог: прогулками, чтением, решением задач, сном. Однако, несмотря ни на что, ему было чем гордиться.

Слава смотрел на родную усадьбу и чувствовал удовлетворение и удовольствие. Дом, двор, сад олицетворяли здание Славиной и маминой жизни. Парень сохранил его, реконструировал, усовершенствовал так, как когда-то хотел, но не мог и представить, насколько всё получится. Дом был – как выполненное обещание, сдержанное слово, данное когда-то памяти отца, даже в какой-то степени продлённое отцовское присутствие.

Однажды юношу позвали на работу в коттеджный посёлок-новострой неподалёку, где с недавних пор полюбили селиться столичные знаменитости. Молодого умельца наняла Дашенька. К тому времени он учился на пятом курсе. Занятия спортом врачи запретили ему окончательно, а шататься по лётному полю, растравлять себя и вызывать жалость у товарищей ему претило. Юноша с охотой согласился поработать в усадьбе балерины, обустроить надворные постройки, тем более что обещанное вознаграждение его очень даже устраивало.

Для поленницы, которую требовалось соорудить, Слава рассчитал, выточил-выпилил все нужные детали, определил ей место между верандой и беседкой, а это надо было согласовать с хозяйкой. Дело откладывалось, потому что она не ехала. Но однажды у ворот раздался автомобильный сигнал. Через несколько минут парень увидел, как по расчищенной от снега садовой дорожке движутся две женские фигуры. Одна из них Дашина.

– Скажите, поленницу возле дома строить? – Окликнул женщин Слава, сделав несколько шагов в их направлении.

Стелла, шествовавшая впереди Даши, повернула голову на звук незнакомого голоса, остановилась и внимательно посмотрела на приближающегося незнакомца. «Странно, – думала балерина. – Такое открытое лицо... Низкий голос... приятно слушать».

– Так поленницу где строить? – Повторил Слава, смущённый пристальным взглядом хозяйки, а что тонкая женщина – владелица усадьбы, он не сомневался.

Стелла рассеянно покивала и пошла к дому. Дашенька поспешила за ней, на ходу растолковывая Славе хозяйские, а по сути, свои задумки:

– Стройте, Славочка, во-он там, ближе к веранде, к задним дверям.

Женщины исчезли в недрах коттеджа. Парень какое-то время смотрел на закрывшиеся за ними двери. Стелла показалась ему простой девушкой, только уставшей от известности, приевшейся, как гречка, которой его в детстве перекормила мама. Походка, повороты головы, стана балерины ему казались неким танцевальным действием.

«Странно двигаются люди, неужели по-простому не могут?» – Подумал он.

Слава дёрнул плечом, словно бы прогоняя случайные мысли, и пошёл к месту, указанному Дашей, долго топтался то у дома, то у беседки, определяя наиболее удачное расположение будущей поленницы, и вспоминал взгляд хозяйки, её походку, молчание.

Стелла осмотрела дом равнодушно, только в репетиционном зале долго держала руку на полу – проверяла что-то для себя, исполнила у станка несколько базовых движений, вглядываясь в зеркала и окна.

– Придётся поколдовать над музыкой. Я должна слышать её изо всех углов, – сказала Стелла Даше.

– Не переживай, у нас есть расчудесный Славочка, он сделает, – успокоила её Дашенька и укатила в город, предварительно передав мастеру новое задание.

Слава, оставив маяту с поленицей, перебрался в дом налаживать звук. Когда всё было готово, он позвал Стеллу и для проверки включил Минкуса. Стелла слушала, сложив руки на груди, потом расплеснула ими, словно фонтанными струями, несколько раз повернулась вокруг себя. Остановилась так же внезапно, как начала, и стояла, ритмично поднимая стопу на пальцы, пока увертюра не закончилась.

– Хорошо. Спасибо, – произнесла она, глядя в пол.

Неразговорчивость похожа на высокомерие. Но Слава ничего такого не подумал – не мог представить, что хрупкая девушка может быть надменной, как стальной прут. Одно не исключает другого, но в своём наитии парень был прав. Окружающие сами находили в Стеллином поведении нечто, что одних оскорбляло, других заставляло питать ложные надежды и разочаровываться. Не воспитанная любящей матерью, семьёй, Стелла не умела проявлять чувства, а детдом и училище научили вообще всё держать в себе. Высокомерие, презрение, она, возможно, испытывала, и не однажды, но сортировать душевные порывы ей было недосуг.

Балерина ещё раз прошлась по залу и села на пол. Она не знала, о чём говорить с женщиной, но уходить ей не хотелось.

– Вы кто по образованию? – спросила девушка, не глядя на Славу, словно прислушиваясь к своему голосу.

– У меня техническое высшее, но я не работаю по специальности. Вот у вас я и плотник, и дизайнер, и звуконаладчик.

– Вы жалуетесь?

– Нет. Всё, чему я научился у отца и в институте, пригодилось здесь, в вашем доме. Я ещё парашютным спортом занимался.

– Это сложно?

– Ответственно. Там ничем нельзя пренебречь.

Стелла вопросительно посмотрела на него. Слава пояснил:

– В парашютном спорте нет мелочей. Вся подготовка состоит из больших и малых этапов, ни один из которых нельзя пропустить. От этого зависит жизнь спортсмена.

– На танец не похоже.

– На танец, может быть, и нет, но мастерство любого вида предполагает тщательность, проработку сложного действия по частям, где-то и творчество, хоть и в небольшой мере.

Стелла помолчала, будто сверяя звуки Славиного голоса с вибрациями какого-то внутреннего своего камертона, и воскликнула:

– Как верно ты говоришь. Будто всё на свете знаешь.

– Гм... Если хочешь, я тебе как-нибудь покажу наш аэроклуб.

– Думаю, у меня вряд ли найдётся свободное время. Через неделю я улетаю в Париж.

– Париж – это, наверное, хорошо... Может, город и вдохновляет, но разве творческие люди не должны отдыхать, отрешаться от всего? Вы ведь не заводные куклы. Разве вы не нуждаетесь в том, чтобы сменить обстановку, режим, побывать на природе, у воды, например, в лесу, на лугу...

Стелла и Слава долго сидели в зале, то беседовали, то молчали. Наступил вечер, прозрачный, как сиреневая органза, немного морозный, из тех, какие бывают в начале весны, когда через сырой холод чувствуется неотвратимое пробуждение природы.

– Пойдём пить чай, – предложила хозяйка.

Они пили чай и что-то ели, юноша опять много рассказывал, а балерина слушала. Обрисовать словами предощущение танца, его подготовку, сам танец она не могла бы, как не может поэт передать словами вспышку вдохновения и мучительный поиск верного слова. Вспоминать про то, как «подружки» по училищу портили ей костюмы, как обворовывали распорядители, балерине не пришло в голову. Зато Слава говорил о притяжении высоты, о том, как земля выглядит сверху. Стелла, как могла, представляла эти картины и спрашивала себя, не упускает ли она нечто важное, без чего её танец однажды не состоится.

Через пять дней она улетела в Париж.

Глава седьмая.

Возвращение

Стелла вернулась из Франции оживлённая, наполненная какой-то неведомой энергией. Так казалось всем, кто знал её холодную натуру. На самом деле Стелла уезжала в Париж уже с ощущением какой-то волнующей силы, но предстоящие гастроли немного умеряли биение этого живительного огня, приглушали его необходимостью сконцентрироваться для выступлений. Только на обратном пути Стелла почувствовала, как в облегчённой душе усиливается дрожкий восторг предчувствия счастья.

По дороге из аэропорта домой на неё в автомобильное зеркало поглядывала Дашенька, отмечая, что подопечной пошла на пользу поездка. Даша и вся околбалетная общественность давно ожидали любовных похождений балерины, потому что молодая известная артистка не может не очаровывать, не вызывать жела-

ния добиваться её, соперничать за её внимание. Уже готовы были сплетни, выдуман некий незнакомец – бизнесмен, садовник, олигарх и Бог знает кто ещё на все ранги и цвета газетных и журнальных изданий.

На самом деле мужчины в жизни Стеллы пока не было, но пришла пора ему появиться. Это понимала Дашенька и очень хотела верить, что Стеллу кто-нибудь увлёт. До сих пор артистку не очаровал ни один русский, но может же, наконец, случиться, что это удалось иностранцу.

Женщины шумно ввалились в холл Стеллиного домища. Дашенька перевела дух, присев на один из чемоданов, и предложила:

– Хочешь чего-нибудь выпить? Винца холодненького, например.

– Нет, не вина. Оно аппетит растрawляет. Чаю.

– Изволь, – согласилась Дашенька и отправилась на кухню.

Потом женщины сидели друг напротив друга за узким высоким столом.

Дашенька бывала очень милой, когда переставала суетиться. Жажда действий ненадолго покидала её, и она являла тому, кому сама хотела, глубину своей неуёмной натуры, мягкость и мудрость. Движения становились спокойными, будто усталыми, и перед собеседником предстала не существовавшая в обыденной жизни, но живущая в глубине Дашеньки всё ведающая и всё понимающая вселенская мать.

Она налила себе вина, отпила и спросила:

– Как тебе французы? Народ, говорят, по темпераменту похож на русский, но восприятие жизни более утончённое.

Стелла с сомнением посмотрела на курчавую голову подруги, пожалала плечами:

– По-моему, утончённое отношение к жизни – именно русская черта. Впрочем, какая разница?

Даша разочарованно вздохнула:

– Неужели никтошеньки за тобой там не приударил? Не может быть, чтоб совсем никто.

– Не знаю... Я занята была.

У Даши окончательно испортилось настроение.

– Да, да, понимаю: для тебя существует только балет. Ты «вся в искусстве», – с угрюмой иронией процитировала она слова Гайдаевской героини.

Стелла заметила перемену настроения подружки, ничего не сказала и не спросила. Так они посидели несколько минут. Одна над кружкой чая, другая – вода пальцем по краешку бокала. И вдруг Даша заговорила:

– Танец живёт, пока на него смотрят. Сколько бы ты протанцевала в пустой комнате? Не репетируя, а именно танцуя, как ты умеешь, на полную катушку?

Балерина молчала, ждала объяснений. Дашенька поймала кураж:

– Да, Стелла, ты – гений, мега-звезда, вселенная, которую искусствоведы будут разгадывать столетиями и не сумеют. Ты тратишься на зрителей, на их эмоции. Освещённые твоим искусством, души становятся лучше, помыслы чище. Известность, всеобщее признание для тебя не награда. Но тогда что ты взяла из этого мира лично себе? Чем он тебя одарил, кроме каторжной работы? С чем ты уйдёшь в иной мир, а туда кроме воспоминаний ничего не возьмёшь? Ты смотришь на всё вокруг себя, как на временное, не твоё. Но что-то же должно быть сугубо твоим. Что?

– Я не думала об этом, – сказала Стелла.

– А ты подумай! Чтобы это понять, надо хотя бы на пару часов в неделю переставать быть звездой и служить искусству. Попробуй, к примеру, пить не чай, а вино и не потому, что оно, скажем, полезно, а потому, что нравится терпкий или сладко-кислый вкус. Войди в реку не для того, чтобы освежиться, а для того, чтобы

почувствовать, как движется вдоль тебя, с тобой и даже сквозь тебя иная среда... Может, настала пора получать удовольствие от общения с простыми людьми, всматриваться в лица, интересоваться мужчинам?

Стелла мысленно выхватила из Дашиного монолога слова «переставать быть звездой». Как? Открыться, оттаять, расслабиться... До сих пор Стелле казалось, что без балета она не знала бы, чем жить. Она в нём и открывалась, и оттаивала, и расслаблялась. Многие живут вне искусства, но каково это? Стелла смотрела на Дашу с интересом, а та на свою подопечную – с жалостью: гении науки или искусства в обычной жизни оказываются, как правило, полными бездарями. Они – бездарные родители, супруги, руководители, потребители, не идущие в ногу абсолютно ни с чем: ни с модой, ни с технологиями, ни с культурными новинками и политическими веяниями. Даша безнадежно вздохнула и принялась пить вино большими глотками, как пьют не для вкуса, а чтобы перейти на другие эмоции.

– Разве не достаточно того, что я балерина?

– Опять ты говоришь так, словно мир от тебя чего-то требует. Но я не о миссии, Стелла, пойми. Ты даришь миру свой талант, труд, а что ты готова принять в дар себе, чего бы хотела Стелла – человек, женщина? Подумай об этом... Ладно, отдыхай. До завтра.

Дашенька ушла, вернее, вызвала такси и уехала в город, а Стелла бродила по особняку, распахивала двери и окна и так оставляла, словно хотела впустить побольше воздуха, тепла, света, или выпустить из себя расправившее душу неназванное пока своим именем чувство.

Обойдя дом, девушка нашла, что ей нравится решительно всё, и всё здесь как будто произносило одно-единственное имя: Слава. И оно было – ответ на вопрос: что Стелла приняла бы в дар от мира.

Славы в тот час в поместье не было. Он налаживал мамину швейную машинку. За всю жизнь Слава не помнил, чтобы мама хоть раз садилась шить, и машинка – старинный монстр с ножным приводом – стояла журнальным столиком в спальне, накрытая китайским покрывалом как скатертью.

Весной угревшиеся в зимней дрёме души оживляются желанием хоть каких-нибудь перемен. Славина мама тоже решила, что настала пора переоценки всего вокруг себя хотя бы в форме разбора старой утвари, и собралась выбросить машинку.

Допотопному, но надёжному, как пожилая служилая собака, «зингеру» не суждено было погибнуть на помойке. Слава отыскал коллекционера, кому механический, не без изящества, швейный зверь пришёлся по душе. «Сосватанную» машинку юноша проверил, почистил, смазал и отвёз на новое жительство к богатому чудаку.

В усадьбу балерины Слава возвращался часа через три, ему предстояло по просьбе Даши оборудовать ещё и гостевой домик. Невдали от Стеллиных ворот навстречу «ауди» вывернулась «школа» – такси с Дашей на борту. Для Славы это означало, что Стелла вернулась из Парижа. Мастер и заказчица друг другу покивали и разъехались. Едва вскочив в раскрытые ворота, Слава бросил машину и побежал к дому. В холле он едва не столкнулся с балериной. Он бережно обхватил её за талию, спину и прижал к себе. Вокруг них в малообставленном доме вольготно носились сквозняки, всё и всех вовлекая в радостное вихревое кружение...

Потом был невероятный май, за ним пришло лето, всё сплошь из света и тепла. Стелла танцевала на редкость чувственно. Критики отметили эту новую нотку. Нет предела совершенству, заключали журналы,

от Велижевой следовало того ожидать, ибо истинный талант не знает границ и потолков.

Ничто не скрылось от Дашеньки. Хотя балерина не откровенничала насчёт сердечных дел, но кто в состоянии скрыть метаморфозы счастья? А оно состояло в том, что рядом был Слава. Бесхитростный, добрый человек, который хотел работать для Стеллы, жить рядом с ней и ради неё. Она – непревзойдённая танцовщица, но он никогда бы не смог оценить ни её филигранной техники, ни глубины проникновения в образ. Стелла вся была – образ, которому он, полюбив, поверил сразу и навсегда. Простым неискушённым сердцем постиг он её ледяную, никем до сих пор не согретую душу, понял смятение девушки, услышавшей в сердце незнакомое, не заложенное с рождения чувство. Но ни Стеллу, ни Славу это не пугало. Они бесстрашно шли навстречу новой судьбе, обязательно радостной и долгой.

Всё начиналось... чтобы не закончиться.

Когда трагедия случается на вершине счастья, острым, тяжёлым и неотвратимым мечом над совестью осиротевшего повисает вопрос: почему? Почему такая несправедливость, кто и в чём провинился перед судьбой?..

Глава восьмая. *Моё расследование*

Следуя за слабыми разрозненными, оказывающимися в итоге недостоверными отголосками исчезновения Стеллы, я отыскала Дашеньку. Мы созвонились и встретились вечером у неё в квартире за чаем.

Дашенька села напротив и уставилась в чашку. Стало понятно, разговора не получится. По крайней мере, такого, на какой я рассчитывала. Сначала беседа

в самом деле шла скудно. Женщина сообщила кое-какие сведения из жизни балерины. Чувствовалось, что рассказывала она это уже не единожды, что ей порядком надоели одинаковые вопросы разномастных журналистов, являвших собой выразительный пример простейшего коллективного мышления. Я всё записала на диктофон, приготовилась к намёкам на прощание, и не удивилась бы, если бы мне указали на дверь, но Дашенька вдруг заговорила иначе, чем в начале, словно до того «прощупывала» меня, и что-то её подвигло доверять мне. Она заговорила сначала тихо, блёкло, но это было то самое, что мучило её до сего дня:

– Я чувствовала, что случится неладное. Не знаю, как именно всё произошло, но Стеллы на земле больше нет, это точно. Все эти досужие рассказы: память потеряла, найдут... Бред. Славку вон таскали то по следователям, то по психиатрам... Её не найдут. Я пробовала узнавать, как продвигаются поиски, расследование, но мне не сказали. Славка тоже словом не обмолвился...

– Мне нужно встретиться с ним, – объявила я негромко, в тон Даше, чтобы нечаянно не разрушить её желание откровенничать.

– Ничего не узнаешь. Мне кажется, он сам не во всём разобрался. А если разобрался, то молчать будет, чтобы снова в психушку не упекли. Думаю, между ними произошло что-то этакое, из ряда вон...

– Например?

– Кто знает... Но, может, к лучшему. Не надо было ей вообще со Славкой связываться. Такие перемены никогда не полезны.

– Вы о Стелле?

– О ней и ей подобных. Пойми меня правильно. Далеко не все нынешние знаменитости – звёзды, которых можно бы поставить не то что рядом со Стеллой, а и на нижнюю ступень возле неё. В знатоках искусства

и экспертах у нас в обществе нет необходимости – им просто некого оценивать. Таких, как Стелла, единицы. Кому из современников хоть на йоту понятен масштаб её дарования? Кто из нас способен оценить бесценное? Даже если некто и сможет, то не раньше, чем через сто лет. Её педагогам это было куда виднее, мне – с трудом. А простому парню Славе? Что ему видно? Поймёт ли, осознает ли когда-нибудь, кто был рядом с ним?

– Но они, похоже, полюбили друг друга...

Дашенька устало усмехнулась, сделала глоток чая, совсем уже не горячего, и отодвинула чашку в сторону.

– Полюбили... Знаешь, что это такое? Это обоюдное служение, притом, небескорыстное. Мать может любить дитя безусловно, а любовь мужчины и женщины всегда чего-то ждёт, предполагает... Почему говорят, влюблённый человек слаб?

Я пожала плечами. У меня, конечно, есть версия, но хотелось услышать, что скажет Дашенька. Та продолжила:

– Слаб, значит, незащищен... Но по порядку. Есть личная часть этой проблемы: мужчина, обычный человек. Как ни боготворит он избранницу, а однажды скажет: «Если любишь меня, выбирай: я или твоё призвание. Ради меня становись нормальной бабой». Но разве можно ампутировать талант в угоду любви к мужчине? Грубая формула примерно такова: или подавай мужу жареную картошку, или ступай нафиг со своим балетом. Я лично готова подавать мужу картошку, но мне легко и отказаться, к тому же у меня нет талантов, так что любой мой выбор был бы не слишком трагичен. Но Стелла, которая не умеет служить вполсилы... Славка бросил бы её непременно и этим погубил бы. Так почему не сейчас, пока она не поняла, насколько оправдана и оправдана ли её жертва. Представляешь, через несколько лет ей открылось бы, что она подвергла выбору несоотно-

симые вещи и предпочла рутину, в которой ничего не понимает, в которой для неё отведено малое место, тень места.

– Но если выбор её был осознанный и окончательный? Вы, Даша, допускаете, что она могла не пожалеть о том, что предпочла Славу?

– Не допускаю. С Божьим дарованием шутить нельзя, оно бы её снова позвало, но мало что удалось бы сделать. Великая насмешка судьбы: ушла бы в зените славы, а вернулась – кем? Может, в кордебалет бы взяли, памятуя о прежних заслугах, но возраст, опыт и прежнее мастерство не позволили бы ей согласиться. Даже если бы и на главные партии – всё уже не то. Искусство не прощает измен, как и мужчины. Я уж нагляделась на публичных людей. Да и ревность к успехам жён делает мужей мстительными.

– А если Слава не такой?

– Пока не такой. Появился бы ребёнок – во имя дитяти он Стелле всю жизнь изломал бы. Мужчинам гении не нужны. Гении... они же как дети. Их защищать надо. Семья не защитит. Дух Стеллы тосковать бы стал, а семья своё требовать. Погубили бы, как есть.

– Но это ведь только догадки.

– Это – опыт работы с творческими людьми. Стелла всё равно умерла бы, понимаешь? Духовно, как мастер, или вены бы себе вскрыла... Может, её истинная семья – это первые педагоги, распознавшие талант. Ты с ними уже разговаривала? (Я кивнула). Пожалуй, они и были для Стеллы главным даром судьбы.

Даша потянулась за чаем, но вспомнила, что он остыл, и не стала пить.

– В судьбу человека с любовью приходит тысяча обязательств, а помимо них исподволь вползают страх, ревность, зависть. Ты ещё не чувствуешь, а к твоей любви так или иначе оказываются подключены десятки,

сотни, иногда тысячи посторонних в зависимости от величины личности твоей или избранника. Чувство требует осторожности, а толпе плевать на это. Если ты гений и вокруг тебя крутятся сотни непорядочных, бездушных, бестактных интриганов и ротозеев, ждут твоих промахов и слабости – как со всем этим жить, особенно, если не умеешь? А как сохранить любовь?.. И даже если бы Стелла не полюбила... Стоило повредить ногу, заболеть, состариться, – общество бы её доконало. Видишь, как выходит. Ей и замуж нельзя, и одной нельзя, – не сумеет разобраться даже с простейшими бытовыми загвоздками. Ведь надуют же обязательно. Затравят, уничтожат завистью, интригами, равнодушием. Не мужа, так дети со своими подростковыми протестами, не они, так проходимцы разных мастей... А вообще, ты меня не слушай. Это я виновата в её... исчезновении.

– Как это?

– Я ей в последнее время проповедовала о вкусе к жизни. Мол, жизнь не только балет, есть и простые человеческие радости. Разве я могла предполагать... Нет. Лукавлю. Должна была предполагать, что Стелла отнесётся к этому серьёзно. Такие, как она, даже верить наполовину не умеют. Всё у них в абсолюте.

– Даша, вы не должны себя винить. Поверить и начать испытывать на себе – ещё не значит сходу почувствовать этот самый вкус, оценить его и пристраститься. Да и полюбить по совету подружки...

– И всё же... С моей подачи она ринулась открывать этот мир.

– Господи, Даша! Но ведь не руки же Стелла на себя наложила. Она для этого слишком счастлива была, ведь так?

– Пожалуй, – нехотя согласилась Дашенька, но я чувствовала, что не убедила её.

В том, что тело танцовщицы не было найдено, увидели символ многие. Для почитателей она была лёгким дуновением ветра, видением, наполненным неземной грацией, каким-то высшим явлением. Труп – слишком грубое напоминание о земной природе человека, а Стелла – божество. Она была звездой при жизни, погибнув, стала легендой, и легенда эта – более реальное, более убедительное творение нашего мира, общества, чем даже сама танцовщица. Но только не для Славы.

Прогостив в Славином уютном доме неделю, я переговорила с хозяевами обо всём, но о Стелле разузнала немного. Вечерами Слава уединялся в беседке, скупосвещённой пузатой лампочкой под крышей. Я наблюдала за ним из окна или с веранды, не смея нарушить его одиночество. Но командировка моя заканчивалась, надо было на что-то решаться. Собравшись с духом, я пошла и села рядом.

Слава заговорил, не путаясь и не сбиваясь, словно заранее отрепетировав, не глядя на меня, но давно ожидая, что я или кто другой однажды выслушает его. Станный это был рассказ, но, просвещённая медиками, я сначала расценила его как стойкую психологическую блокировку действительного события. Говорят, так бывает, когда невозможно вспомнить правду без вреда для душевного здоровья. Слушая и доверяя с разбором, я начала сомневаться в том, что его рассказ – всего лишь психологический клин. У рассказчика было столько вопросов к себе и своему несчастью, что он выглядел скорее человеком, одержимым распечатыванием психологического замка. Множество раз упорно перебирая в памяти детали трагедии, парень открыл такую бездну неподвластных логике мерил и оценок, что начал предъявлять мироустройству вопросы, ответов на которые нет:

– Бог наказал Стеллу или осчастливил? Если наказал, – за что? Вольна ли она была в выборе или всё predetermined? Если predetermined, тогда в чём её вина? Если это – наука мне, почему от меня скрыт её смысл?

– Может, потому, что тебе ещё жить, – осторожно предположила я.

Слава сжимал и разжимал кисти рук, как будто они затекли или замёрзли, а потом спросил, словно бы не меня:

– Не могу решить, что такое судьба. Это то, что можешь сам или то, что послано тебе под ноги?

– Если бы ты мог понять, ты открыл бы вселенский замысел и стал богом. Или умер, потому что такие прозрения дорого стоят человеку. Зачем тебе об этом думать?

– Пытаюсь разобраться, какова моя роль в том, что с нами произошло. Мог ли я спасти Стеллу...

«О! И этот туда же», – подумала я, припомнив разговор с Дашенькой, и не без раздражения сказала:

– Почему каждый сколько-нибудь думающий человек всё время ищет смысл чего угодно: горя, испытаний, смерти и, по-моему, не там, где надо. Мы вечно копаемся в себе, прямо эгоцентризм какой-то: «Я – пуп мироздания, за всё отвечаю и всё должен понимать, чтобы держать руку на пульсе». Как будто Вселенная вращается вокруг нас и именно нам обязана послать мудрейшее откровение. Между тем, разные трагические случайности свидетельствуют о том, что всё как раз наоборот, мы никакой не центр. Истинный, всеобщий смысл – не в сути жизни каждого в отдельности. Все мы – лишь крошка гигантской, непознаваемой системы. Жизнь всех вообще, как событие, как форма движения, цепь превращений, – есть суть Вселенной, и смотреть на всё вокруг надо именно с этой точки...

– Возможно, ты права. – Оживившись, как будто разглядев что-то в темноте, ответил Слава. – Моей религией всегда была сила человеческого духа и разума, но она не объяснила мне того, что там, на реке... Твоя версия вполне годится, чтобы увязать одно с другим, тогда, наверное, я смогу жить проще.

– Дай Бог... Чем ты теперь занимаешься?

Он неопределённо повёл плечом.

– Зрение потихоньку восстанавливается. Сказали, что видеть буду не очень, но буду же. С тех пор, как... ослеп, я почти не живу в тишине. Стихи в голове роятся, какие-то бредовые тексты, даже во сне. Записать не могу. И не жаль: они приходят в дурном количестве. Маме иногда диктую, не самые страшные; она за мою психику тревожится.

– Наговаривай сюда, не пугай маму, – сказала я и протянула Славе диктофон. – Разберёшься?

– Угу.

М-да... Похоже, собранный мною материал никогда не станет очерком ни в одном журнале страны. Чтобы распорядиться им к пользе, скажем, собственного имени мне, пожалуй, не хватит цинизма.

Наутро Слава с мамой проводили меня на остановку. Сегодня Слава выглядел бодрым и, что называется, в настроении, чего не скажешь о маме. Она озабоченно взглядывала на сына. Её тревожило состояние Славы. Сменится ли оно очередной безмолвной и бессонной хандрой или станет, наконец, предвестьем возвращения её прежнего деятельного сына?.. Однако мы обе знали: время лечит. Всё или почти всё вернётся на круги своя.

Слава проживёт совсем не ту жизнь, что распланировал, а какую? Кто знает. Наверное, усадьба не будет больше образцовой, хотя любовь к порядку, удобству вряд ли покинет Славу совсем. Зрение вернётся, и

парень снова сможет заниматься домом, пусть без одержимости: работа не будет для него самоцелью. Разумеется, он снова полюбит женщину, приземлённой на этот раз любовью, которая обязательно приведёт к свадьбе, детям, семье. И всё-таки Стелла будет приходить в его сны. Не как женщина из прошлого, а как провозвестница перемен.

Глава девятая.

То, что не подлежало расследованию

В тот день Стелла и Слава договорились устроить настоящие, полновесные выходные – два дня абсолютно ничего не делать. Оставив записку Даше и телефоны в кухонном ящике, они поехали в Куликовку, на аэродром спортивного клуба. Слава впервые за долгое время оказался на лётном поле и теперь стоял, задрав голову, жадно разглядывая кружащиеся в вышине разноцветные купола. Стелла следила за одним – красным, который вблизи земли набрал скорость, крутнулся и пал. Парашютист встал, развернувшись к заklubившемуся, точно пламень, куполу и с усилием тянул стропы. Упрямый купол-пламя нехотя, пузырясь, угасал, и наконец, обник, замер.

Впечатлений, какие предполагал Слава, девушка не испытала. Философии духовной силы, о чём всю дорогу до аэродрома толковали влюблённые, Стелла в свободном парении не нашла и не прониклась ею. Балерина увидела простое затяжное падение. Конечно, на шаг из самолёта в воздушную бездну надо решиться, тут сила духа в самом деле нужна, но красоты и величия парашютного спорта девушка оценить не сумела. Полётные ощущения планеристов куда более захватывающие. Так показалось Стелле, и

она спросила: «Всё это интересно, но какое удовольствие падать?»

Слава не ответил. Он никогда не думал так упрощённо. Для него прыжок был прежде всего прыжком и только потом падением, но и оно было не паданием, а полётом, затяжным приземлением. Вопрос девушки совершил в душе молодого человека странную перемену. Оказывается, насчёт расцветших в воздухе куполов он ничего возвышенного уже не воображает. ореол мужественности, романтики, духовной подпитки над парашютным спортом померк незаметно и безвозвратно.

С аэродрома влюблённые отправились к реке, где в кустах – Слава знал, – лежала лодка. Они решили отправиться в плаванье на всю ночь, и пусть река вынесет их, куда захочет.

...Тихое покачивание лодки убаюкало Славу, он уснул. Стелла лежала глазами к звёздам и думала о том, что её творческая миссия окончена, ей больше нечего предъявить своим почитателям. Балет сдал Стеллину душу Славе без сожалений.

Балерина вдохнула сгустившиеся ароматы травы, которую они со Славой загодя натаскали в лодку. Её любимый чуть слышно дышал рядом с ней, подбрав ноги и прижав руки к груди, будто ребёнок или парашютист, сжимающий стропы.

Стелла улыбалась.

По чьей воле это случается, по каким причинам? Почему из тысячи прохожих твой взгляд выхватывает того, кто не лез на глаза, не обрывал телефон, не досаждал письмами? Почему, когда в жизни всё налажено и у тебя только одно желание – танцевать, вдруг появляется множество потребностей, но с единственным условием, чтобы твой избранник был рядом? Он,

словно проводник в твои собственные тонкие миры, открывает тебе тебя же, удивляя и очаровывая всем, что прежде казалось обыденным и пустым.

Сколько же на земле всего, красотой и силой чего предстоит насладиться! Как, оказывается, изысканы и страстны волнующиеся под ветром травы, сколько кокетства в серебряно-жёлтых проблесках-блёснах речной ряби днём и оптимизма в нежно-оранжевых облаках на закате. Дожди... За свои двадцать лет Стелла ни разу толком не вслушалась в их шелестящие шёпоты. Осени и зимы пролетали мимо, будто кинокадры перед зрителем. Прежде девушка не знала любви, которую так пронзительно танцевала. Она, словно сказочная красавица, спала, пока не появился Слава, и мир ожил, наполнился красками, звуками, движениями, эмоциями, наполнил Стеллу восторгом, стал значимым и необходимым во всей полноте и несовершенстве.

Стелла легла на спину. Прозрачный холодок – предвестник утра пронизал, казалось, всё существо девушки. Она была счастлива и готовилась жадно жить, честно изведывая превратности судьбы. Она обязательно узнает, что такое материнство. Ей во всех подробностях откроется зрелость, старость рядом с любящим человеком.

Чем она до сих пор жила, как? Танцуя по многу раз одни и те же партии, она делала это привычно и, выходя на поклон, удивлялась, почему нынче аплодируют также неистово, как вчера, если сегодняшней танец был более машинальным, а вчерашний – более, чем раньше? До сих пор балет был её миром, и вот выходит, что всё лучшее он взял у мира.

Разволнованная мыслями, словно только что осознавшая себя, душа Стеллы оглянулась на прошлое. Девушке вспомнились Лидия Ивановна и Нинель Георгиевна. Обрывки воспоминаний обрели смысл,

сложились в единую картину: Каретникова, Соболевская, грант, ежемесячные деньги, которые Стеле неоткуда было получать, но они всё-таки приходили. Девушка рывком села, обняла колени, вжавшись в них грудью. Получается, Лидия и Нинель любили не ведавшую никакого ответного чувства Стеллу? Та пользовалась этим великодушным подарком, и лет десять назад её ещё можно было оправдать малолетством. А теперь? Набравшее силу мастерство можно считать некоей оплатой долга своим первым преподавателям, но сейчас Стелле этого казалось мало! Она обязательно поедет к хореографиням и сделает для них всё, что сможет.

Для неё, сироты с первого вздоха, слово «мать» означало не конкретного человека. Это скорее качества, понимаемые под словом «благо»: защита, справедливость, терпение, жертвенность, неустанный труд. Благо это ей было преподано хореографинями, но усвоено оказалось не в одночасье, и теперь, полюбив, Стелла постигала ещё великодушие, прощение, потребность заботиться.

Мысли повели её дальше. Ей захотелось понять, что в ней от рода человеческого. Что от Бога – ясно, а от родителей? Не с неба же артистка Велижева упала. Может, родителям, как и Стелле, необходимо разобраться с прошлым. Если они мучаются от вины перед брошенным ребёнком, нужно облегчить их страдания, утешив своими успехами и счастьем. Если окажется, что они живут достойно, дочь не станет им докучать, возбуждая бесплодные сожаления о том, чего не поправить.

Голова балерины закружилась от замыслов и планов, она закрыла глаза.

Кружение усиливалось. Перестав быть лёгким и приятным, какой-то незнакомой силой оно сжимало тело. Дышать стало трудно. Воздух сделался густым,

упругим и качким, как надувной батут, не подвластным земному притяжению. Девушка потеряла равновесие, открыла глаза и увидела спящего Славу... далеко внизу, а сама она парила в воздухе над рекой и лодкой.

«Слава, Слава!» – позвала Стелла. Он не слышал. «А-а-а!» – в отчаянии закричала девушка, простирая руки вниз, словно желая уцепиться за что-нибудь или ухватить лодку и реку, медленно удаляющихся вниз, в ползучий туман.

Стелла взмыла над приречными кустами, над аэродромом с крестиками самолётов и планеров, выстроившихся в торжественном порядке. Лётное поле, окурчавленное по краям лесопосадками, посёлки, город невдали тоже уменьшались, утрачивали подробности. Земное раздолье тонуло в рассветных сумерках, облаках... А потом стало темно. И холодно. И тихо...

Слава стремительно падал и понимал: не выживет. Его парашют не раскрылся. В миг удара острая боль молнией прошила его тело. Он успел увидеть, как Стелла тоже падает, но вверх, в небо. «Стелла-а!» – Что есть мочи закричал парень и проснулся.

То, что он увидел, оказалось ничуть не достовернее сна. Зависнув над землёй, девушка протягивала к нему руки и беззвучно звала: «Слава-а!!» Медленно поднимаясь, она одновременно удалялась на восток. Парень схватил весло и принялся остервенело грести, надеясь быстрее достичь берега и броситься вдогонку. Он не подумал о бесполезности погони бегущего за летящей, но что вообще можно предпринять, желая настичь, удержать, спасти Стеллу? Именно спасти, потому что там, куда бы она ни отправилась неизвестно по чьей воле, ей не будет лучше, чем с ним.

Слава выскочил на берег и бросился за девушкой, не чуя усталости, но чем быстрее бежал, тем скорее удалялась

Стелла. Казалось, бессмысленная гонка длилась вечность, а на деле прошло всего несколько минут, и в одно роковое мгновение девушка резко взмыла под самые звёзды, превратившись в ярко-зелёную точку. Слава остановился, жадным взглядом следя за сияющей крупичкой, некогда бывшей его возлюбленной. Крупичка приостановилась и понеслась обратно, прямо на парня. Увеличившись до размера мяча, ярким, ломотным для глаз излучением ослепила, обожгла лицо и руки юноши. Тот упал в траву и потерял сознание...

Когда Слава очнулся, стоял вечер, о котором юноша не узнал, не почувствовал, который был ему безразличен. Парень брёл наугад, пока сердобольные незнакомцы не отвезли его в ожёговый центр, где выяснилось, что состояние молодого человека – следствие ударной вспышки шаровой молнии. Слава выписался не слишком скоро, незрячим, но с утешительными прогнозами. Правда, это ничего не решало. Он не собирался смотреть в небо, прыгать с парашютом, строить планы, для которых зрение было бы важно. Больше всего Слава хотел уединения, но такой милости судьба ему не даровала.

Сначала появилась Дашенька. Она вкрадчиво, сочувствующе и совершенно безуспешно пыталась вызнать, что именно в роковые выходные случилось с ним и Стеллой. Следователи тоже не преуспели в поисках гражданки Велижевой. Слава долго пребывал в главных подозреваемых. Следы пропавшей балерины не обнаружили. Дело заглохло. Подозрений с парня никто не снимал, но это всего лишь подозрения. «Копать» под Славу было некому и незачем, его оставили в покое. Тому способствовал и психиатр, заподозривший в Славином здоровье душевную травму. Вероятно, она была причиной тому, что все полицейско-медицинские суеты Слава вынес равнодушно.

Хуже обстояло с журналистами, которые пытались вести собственные расследования. Если бы не Славина мама, его беда стала бы предметом глупых и гнусных выводов, инсинуаций, гипотез, выданных за теории, унижительного анализа увечий юноши на разных информационных просторах. Кроткая стареющая мать, давая отпор всем любопытствующим, оказалась жёсткой, упорной в своей категоричности хранительницей покоя сына. Ей вновь пришлось стать покровителем, помощником и защитником своего ребёнка, как бывало в Славином детстве. Только судьёй она ему не стала. Матери не нравились отношения сына с «плясуньей», но с чувством удовлетворённой самозначимости говорить теперь «я знала, чем это закончится» было в её понимании подлейшим делом.

Чем дольше женщина противостояла натиску журналистов, тем дороже стоило то, что мог бы поведать им Слава. Сдайся мать, они с сыном не знали бы нужды до конца дней. Но какое значение имели деньги, если то, что дорого Славе, нельзя вернуть никакими богатствами?

Тем не менее, пиршество для газет и журналов всё-таки находилось, ибо кому запретишь врать, пудрить мозги читателям во всю ширь неуёмной фантазии.

Слава ушёл из Стеллиного дома, хотя Дашенька не гнала. Самой ей предстояло разобраться, что делать с балериниными хорами. Мать Стеллы умерла раньше, чем та стала совершеннолетней. Не оказалось и других родных. Вернее, они постоянно объявлялись, особенно отцы. Их скулёж по великой дочери на время превращался в многосерийное мыло всяческих ток-шоу, но довольно скоро разоблачался, наскучивал и забывался.

Прошёл год или больше. Страсти по Стелле утикли. У нас быстро забывают любимцев. Им на смену при-

ходят новые кумиры, но далеко не той же чистоты и огранки. Их убожество на фоне предшественников кажется особенно выпуклым, но, ничтоже сумнясь, новые «звёзды» записываются на место ушедших гениев, поражая наглостью, смелой тупостью поступков и высказываний. Но не в этом чудо. Чудо в том, что у погасших звёзд и нынешних – одни и те же почитатели.

Глава десятая. *Что сказала небо*

Всё небо видело, как Стелла покидала Землю, а когда ослепила Славу, даже ахнуло. Говорили разное.

– Вот тебе и любовь... Она не выше таланта.

– Мелко мыслите, уважаемые, любовь не противостоит таланту. Любовь вообще – суть всего, хотя в жизни талант и любовь нередко соперничают друг с другом. Но почему в Стеллином случае нельзя было совместить?

– Стелла тут не пример. Она слишком рано покинула мир. Полно других, кто, любя себя, умеет удачно принудить свой талант служить этой любви. Но это не про гениев.

– Хотите сказать, что всё зависит от цели службы? Человек идее или она ему?

– Ото всего возможно отречься в пользу выгод.

– Значит, выбор есть.

– О, да! Это всеобщая привилегия людей, хотя есть, о чём спорить. Но гений... Кто он больше: миссионер или человек с законным желанием прожить нормальную земную жизнь? От одного невозможно отказаться, от другого не хочется. Между тем, многое в мире ложно, надумано, освещено личным опытом всех и

каждого, и опыт этот ни в коем случае не истина, следуя которой гений мог бы жить в ладу с миром и собой. Гений мечется, то и дело попадает впросак, восстаёт и в конце концов гибнет, а то, во имя чего он погиб, зачастую оказывается иллюзией. На земле хватает таких историй.

– Чья ж это история? Пушкина?

– Да, и многих иных. Обыватели, презревшие личную миссию ради земных стяжаний, не умеющие в решающий момент опереться на любовь, убивают гениев намеренно и ненамеренно, по причинам или без них.

– Так стоит ли менять призвание на земную любовь, миссию на бытие?

– Не стоит. Но гении тоже люди. Правда в том, что выбор этот им и не удаётся.

– Значит, выбора нет...

Эпилог

1

Девочки сидели на кроватях по двое-трое, меньших кутали в одеяла и расходиться не собирались. Лидия Ивановна расположилась на стуле возле двери. Они беседовали «за жизнь». Разговор перескакивал с темы на тему: от учёбы к выбору профессии, будущей семье, общему течению жизни, её смыслу и смыслу её окончания.

– Лидия Ивановна, предположим, человек, ни хороший, ни плохой, обычный, совершал добрые поступки, но и ошибался, человек ведь не может быть только добрым или только злым, а душа у него одна. Он умирает, и что от него попадает в котёл жизни? Если только

хорошее, тогда что же получается: хорошая часть души отделяется от плохой?

– Нет, конечно. Зло и добро – те деяния, что заставляют шар души светиться меньше или больше. В течение жизни зло притушивает свечение, а добро усиливает. После смерти душа достигает котла с тем свечением, которое у неё осталось на итог жизни, после всех умалений и усиления. Страшно представить души, к окончанию жизни совершенно чёрные, не сотворившие на земле ничего доброго. Но так, пожалуй, нечасто бывает, потому что зачаток души, достающийся новорождённому, уже светел, ведь в котле воссоздаётся абсолютное добро.

– Куда же девается плохое и злое?

– Остаётся в мире, где жила душа. Оно требует исправления – возмездия – и будет исчезать по мере того, как человечество научится работать над ошибками. Так что творите добро, искупая, тем самым, зло. Попав в плазму котла, прошедшие жизненный путь души переплавятся в более совершенные зародыши. Поэтому каждая следующая сфера – зачаток иной, более сильной, доброй души, и значит, с каждым столетием на Земле и всюду будет выстраиваться лучшая жизнь.

– Не проще ли предположить, что жизнь – всего-навсего биологическое явление, и никто ничего никому не должен?

– Если прогресса нет, и к лучшему ничто не ведёт и не способствует, тогда зачем нам дано понимание добра и зла, хорошего и плохого? Если бы мы жили как попало, всем всё было бы можно, даже мерзости, даже с пелёнок, тогда зачем беспокоиться насчёт справедливости, благородства или низости? Если Вселенной не нужна более совершенная духовная жизнь, если приемлемы любые поступки и слова, тогда зачем нам дана способность осознавать все эти различия и противоречия?

Воспитанницы молчали – думали, что, наверное, Лидия Ивановна в чём-то права. А та чуть заметно улыбалась.

– Поздно уже. Давайте расходиться по спальням. Напоминаю: завтрашняя репетиция начнётся на час раньше. Спокойной ночи.

Девочки из соседних спален ушли к себе. Лидия Ивановна прошла между кроватями, поправляя то одеяло, то одежду на стуле, и выключила свет.

2

Поздний вечер. Медленно обводя взором пространство зала, нажимала один за другим клавиши выключателей Нинель Георгиевна Соболевская. О чём в эти минуты думала педагогиня? О, она слишком умна, чтобы кто-нибудь на долю процента мог разгадать её мысли.

Возможно, Соболевская вспоминала, как трудно было учить Стеллу, как мучительно подбирались, складывались, рождались приёмы работы для этой девочки. Стелла вспоминалась не просто человеком, теперь она означала степень мастерства, с которой педагогу легко понимать, что требовать от нынешних учениц и объяснить подопечным способы достижения наилучших результатов. Выходит, Стелла сделала Нинель Георгиевну педагогом высшего порядка, гуру хореографии...

Соболевской нравились сумерки, в них нельзя прочесть её душу, если, конечно, человек, способный на такое, вообще существует. Но свет в зале Нинель выключала, разумеется, не поэтому. Занятия закончены. Завтра уроки начнутся снова, будет ещё что-то, отличное от сегодня, и три щелчка трёх выключателей – как многоточие перед следующей

главой, которую предстоит писать и прочитывать одновременно.

3

Монитор погас. Я села на пол, прислонившись спиной к дивану.

Гм... Меня не беспокоит мысль о вечном блаженстве. Имея его целью, душе, пожалуй, не стоит появляться в земном мире. Зачем ей, изначально благой и светлой, рождаться, совершенствоваться, становиться светлее и сильнее, укрепляться во благе на Земле, где, кажется, буквально всё противится этому? Как подготовиться к Вечности, живя в ограниченном мире, где абсолютно всё преходяще? Это, по-моему, неразрешимая задача для одной жизни. Следует ли из этого, что нас ожидает несколько попыток? Не знаю. Не дано знать. Человеческий ум не годится для таких логик. Но возможно, нам в самом деле недостаточно умереть однажды...

И всё же земная жизнь нужна нашим душам. Ведь где бы Нашему Отцу учить нас быть богами?

Как у Бога, у каждого из нас свой путь к своей голгофе. Голгофа – страшное слово. Но как бы ни было, путь на неё – это путь по восходящей. И на этой дороге каждому из нас дарована роль спасителя – для кого-то или самого себя. Разве не было такого шанса у Славы, Дашеньки, Нинель с Лидией? Разве нет его у каждого живущего?

Вероятно, Всевышний учит нас быть спасителями, творить благо, как делает это Он сам. Ведь где бестелесной душе в Космосе понять суть категорий добра и зла, где дожидаться плодов сотворённого, испытать за них гордость? Выходит, только на Земле. Затем и тела нам (для накопления опыта), и души (где он осмыс-

ливается, превращается в энергию). Земля – школа познания, осознания, обретения силы и могущества души.

Зачем Ему учить нас быть богами? Гм... Но Он же Отец наш, значит, мы – Его продолжение. Он вечен, потому что есть мы.

ФАНТОМ

1

На столе глянцевыми угловатыми пузанами, привалившись друг к другу, белели пакеты с продуктами и минералкой. В одном из них лежала записка, написанная на чистой стороне магазинного чека: «Это на первое время. Звони, если что. Люда. У Ани новый...» Дальше – одиннадцать сотовых цифр дочкиного телефона. Кухонные стенные часы громко тикали и вдруг оглушительно зазвонили...

Сергей Симонов вздрогнул от трамвайного звонка и огляделся. Испарившаяся мысленная картина была настолько отчётлива и подробна, что Симонову стало не по себе. «Задремал я, что ли?» – скользнуло в мозг. До дома было ещё две остановки.

В квартире всё оказалось так, как привиделось. На кухне действительно стояли пакеты, и записка слово в слово. Только часы не висели на стене, а лежали на столе вниз циферблатом, без батарейки, звонок в них вообще не был предусмотрен.

Сергей не стал доставать продукты, обошёл квартиру. «Двушка» не из просторных, но сейчас она казалась огромной. Удивительно, как бездушные вещи чувствуют своё сиротство.

Когда тут жили трое, места семье выходило в обрез. Может, поэтому Сергей зачастил с работы не домой, а в дружеский гараж, где стал спиваться.

Сейчас, когда Люда с Аней переехали к Екатерине Львовне, квартира опустела, онемела, как настрадавшаяся душа, хотя жена с дочкой ничего, кроме одежды не взяли. Сергей не мог одним собой заполнить пространство, где гулками стали шкафы, тумбочки и даже кастрюли.

Он сел на тахту. Итак, его покинули. Жена окончательно. Это следовало из пакетов и записки, полной товарищеского участия. Он знал Люду. Любви к нему она уже не испытывала, иначе не стала бы предлагать помощь, не разрешила бы звонить. Идея развода, насколько он помнил, воплощена. Конечно, с разводом любовь могла и не закончиться, но это не случай Людмила и Сергея.

Он только что вернулся из «наркушки», где долго и тяжело лечился без всякой веры в то, что не попадёт туда снова. В периодах не то бреда, не то внезапного обострённого сна в больнице он, как нынче в трамвае, однажды увидел некий жизненный сюжет, отчётливый в своём правдоподобии, но по тому времени не слишком удививший.

Это случилось в коридоре клиники, где Сергей лечился, в час посещений. Они с дочкой сидели на дерматиновом диване. Измученному уколами Симонову в какой-то момент примерещилась тёщиная кухня.

«Хватит мыкаться. Перебирайтесь ко мне», – сказала, будто вынесла постановление, Екатерина Львовна.

«Ой, не знаю», – сомневалась и размышляла Людмила.

«Чего «не знаю»? Вы давно соседи, а не семья».

«Это да, но бросить в трудную минуту...»

«Вот чего я терпеть не могу, так это твои убогие фигуры речи, – тихо раздражилась тёща. – «Трудная минута»... Скажи: «Трудное десятилетие». Опять же, чьё? Его или твоё и Анькино? Может, ты думаешь, что

я смотрела на ваше безобразие с умилением и кротостью?»

«Твои словесные фигуры по сути не лучше моих, – парировала Люда. – Как всегда о себе любимой, да, мамочка? Последняя фраза просто шедевр. Оказывается, ты о своём покое печёшься».

«О своём, конечно. Ещё об Анином и твоём, наивная дочь».

Люда глядела в сторону, мелодично помешивая в фарфоровой чашке несладкий чай, и чашка при каждом ударе ложечкой оттягивалась в ту или другую сторону, словно резиновая...

Картинка в мозгу Сергея «выключилась», когда Анна боднула лбом его плечо:

– Папка-а, выздоравливай. Я скучаю.

Сергей вздрогнул, посмотрел на дочь так, будто видел её впервые.

Дочь заволновалась:

– Па, что с тобой? Тебе плохо?

– Н-не... Ничего, голова кружится. Ты прости, я пойду в палату, прилягу.

– Да, да, конечно, – засуетилась Анна, поднялась, помогая и Сергею подняться с дивана, и на прощанье чмокнула его в щетинистую щёку.

...Сидя уже дома на тахте, он припомнил ту картинку и сегодняшнюю. Откуда лечащийся алкоголик мог узнать, что происходило в обители Екатерины Львовны? И как быть с видением в трамвае?

Сергей вздохнул и пошёл на кухню за минералкой.

Утром Симонов отправился на работу, хотя по больничному листу у него оставалось ещё три дня. Трамвай неходко громыхал по рельсам, словно припадал на протез. Сергей равнодушно рассматривал постройшевшую осень за окном. В голове плавали разрозненные мысли.

Меж ними одна вдруг прозвучала, будто чьи-то – не Сергеевы – слова: «Представь, что трамвайная линия обесточилась». Он представил. У пассажира с газетой в руках, сидящего напротив, прямо на газете в мгновение ока возгорелось и погасло нечто шарообразное, вроде вспышки фотоаппарата. Сергей даже отпрянул, а потом огляделся. Странно: сидящий напротив пассажир и окружающие вели себя, как ни в чём не бывало.

Трамвай стал, не доезжая остановки. Водитель попросил всех выйти, и Сергей, засунув руки в карманы, двинулся вдоль вереницы трамваев и троллейбусов, боясь объяснить себе, что сейчас такое случилось и какая его личная роль в этом происшествии.

На работе его не встретили раскрытыми объятьями, но нехотя сказали «милости просим», как только истечёт больничный. Денег Сергею Симонову ни за что не причиталось, и он занял у хирурга, а лучше сказать, хироманта Димы, слывшего к тому же ещё астрологом, психологом и парапсихологом. Вся эта эзотерика была его многолетней страстью. Докторицы, медсёстры с санитарками ходили за ним стаей, как голуби на церковной площади, к великому раздражению заведующего и потехе коллег мужчин.

Сергей к увлечению приятеля никак не относился, последнее перед «наркушкой» время Симонов вообще любил всех, с кем выпивал, и тоже вызывал раздражение начальства.

В это утро, засовывая рулетик одолженных денег в карман, Сергей подумал, что может, эзотерика прольёт свет на его видения, придержал было Диму, но не решился спросить.

Симонов шёл пешком, вдыхая неласковый осенний воздух. Кожаная куртка не грела. Казалось, холодно даже в черепной коробке, но это и к лучшему. Дома,

не снимая куртки, он лёг на тахту, старался ни о чём не думать, но получилось только не замечать времени. Не то дремля, не то воображая, он понёсся по городу...

Осенняя хмурость дня мельчайшей моросью пересочилась в сумерки и в темноту. В реке змейками извивался фонарный свет, асфальт моста поблёскивал, словно обтянутый упаковочным целлофаном. В небе ничего нельзя было разглядеть, но Сергей посмотрел и почему-то вспомнил деревенский сеновал, где они с Людой однажды ночевали. Тогда он понимал, что счастлив, а тут, на мосту это чувство представилось далёким, не своим.

Симонов отвернулся от реки. Мимо него, глядя под ноги, прохожие шли быстро, не озираясь, словно на автопилоте. Слишком промозглый выдался вечер. Никто из спящих мимо горожан не жил здесь и сейчас. Мысленно они уже видели себя в тёплых квартирах, где пили чай, ели вечернюю яичницу с колбасой, разглядывая иллюзорную тележизнь.

Сергей издали увидел женский силуэт, а точнее, плащ. Не то белый, не то светло-серый. Фонарный свет проделывал странную работу – наделял лицо и одежду незнакомки слабым лучением. Женщина шла, как бы заключённая в сияющий кокон. Растопыренной пятернёй дама время от времени сгоняла короткие волосы на затылок. Большинство женщин не станут так поправлять причёску. Незнакомка показалась Сергею молодой, но когда та поравнялась с ним, он понял, что обманулся, что ей никак не меньше сорока. Она не прогуливалась, но и не спешила. Он подумал: «Почему?» И пошёл за ней.

Ирина Демидова любила свою квартиру, но сейчас не хотела идти домой. Сегодня её уволили по тошнотворно простой причине.

С самого начала главная бухгалтерша из Ирины получилась дельная. Хозяин часто отмечал это и обсуждал с нею новые финансовые проекты.

Ирина думала, её начальник – простой, сердечный малый, и у них наладилось доверительное сотрудничество. Несколько раз она подмечала перегляды сослуживцев, но была слишком увлечена работой, чтобы принимать на свой счёт.

Всё разъяснилось позавчера. Константин Павлович деловито обнял её у себя в кабинете. Ирина вывернулась из его рук. Хозяин устало усмехнулся и поднял ладони, показывая, что попытка не повторится. Далее он повёл себя так, словно всё шло по хорошо отрепетированному сценарию: ловко, аккуратно, даже красиво налил коньяку в два фужера и открыл картонку с конфетами. Один фужер протянул Ирине, но та оттолкнула, и коньяк оплескал начальнику манжет с дорогой запонкой. Константин пожал плечами.

– Я могу идти? – спросила Ирина, сдерживая возмущение.

– Конечно. Но вы могли бы принять решение, куда более удобное для нас обоих.

– Упасть в постельку?

– А ещё стать другом, советчиком и совладелецей предприятия. Я умею быть благодарным, – произнося это, босс разглядывал коньячное пятно на рукаве.

Демидова не ответила.

Он уволил её не сразу. Дал день поработать, ждал перемен, а вечером ей принесли расчёт.

Теперь Ира шла по городу, намеренно не садилась в автобусы и маршрутки. Ей было о чём подумать.

Босс, сам того не желая, сделал своей подчинённой подарок. Он ей подарил не только свободу от служебных обязанностей, но где-то и саму себя. Стоило подумать, как воспользоваться этим благом.

До сих пор Ирина жила для кого-то. Для мужа, сына, больной мамы. Супруг давно ушёл, сын служит в Сибири, мама умерла. Последние несколько лет Ирина жила для дела. Ей казалось важным работать в современной развивающейся кампании. По вечерам она ужинала, ложилась с книгой в постель, и у неё ещё оставалось немножко времени поразмышлять: кто она и зачем живёт. Спокойное сознание отвечало ей: всё идёт как должно. Ирина засыпала.

Но всё же что-то было не так.

С недавних пор, когда сын, единственный близкий ей человек, уехал, Ира то и дело открывала себя, находила, словно ребёнка в капусте. Она вдруг поняла, что бухгалтерия занимает её постольку, поскольку дело неплохо и предсказуемо идёт. Но при случае Ира расталась бы со сметами и счетами без сожалений. Читая Чехова или Андреева, она ловила себя на мысли, что люди не должны жить для того, чтоб кормить себя ужином, умывать, одевать и занимать мозги чем-то в угоду чужих прибылей.

«Есть что-то ещё. Ещё что-то...» – думала Ирина, прогуливаясь по мосту. Она не сразу заметила позади себя мужчину. Через плечо при свете фонарей его нельзя было хорошенько рассмотреть. Демидова прибавила шагу...

Ирина буквально заскочила в подъезд, мимоходным женским чутьём уловив: незнакомец не ускорился, не попытался ворваться вместе с нею.

Дома она выглянула из-за шторы. Преследователь, сгорбившись, сидел во дворе на качели как-то боком. В чёрной одежде он походил на старого грача. Единственным светлым пятном была голова, по-видимому, седая. Нелепая фигура незнакомца и всё вечернее происшествие уже не казались ей опасными.

«Старею. Неврастения», – сказала себе женщина. Незнакомец сидел неподвижно, не обращая внимания на других прохожих. Ирина совершенно успокоилась и озорно подумала: «Что если поговорить с ним?» Она испугалась этой мысли, отошла от окна, но тут же вернулась и снова посмотрела. Незнакомец сидел, будто нарисованный. Захотелось тронуть его, расшевелить. В прихожей Ира ещё немного помедлила, шагнула за порог, прихлопывая входную дверь, и нажала кнопку вызова лифта.

«Почему он не ушёл?» – думала она, спускаясь на первый этаж.

«Почему я не уйду?» – спрашивал себя Сергей, покачиваясь на качели.

Если у Ирины не было ответа, то Сергей понимал, что в живости некоторых своих ощущений он сегодня не волен.

– Здравствуйте, – раздалось у него за спиной. – Почему вы меня преследовали?

Симонов увидел лицо женщины. Широкое от лба до скул, оно как бы стекало в тяжеловатую каплю подбородка. Волосы длиной до мочек не скрывали лба.

– Не поверите, – честно сказал мужчина.

– Но раз уж я здесь, охотно вас послушаю, может и поверю. Вы, кажется, шли за мной от моста?

– Верно. Вы никуда не спешили. Для женщины странно, по-моему.

– Это повод тащиться за ней через весь город?

Сергей опустил голову.

– От вас шёл свет. Какой-то серо-жёлтый, сизый, жемчужный. Н-не очень разбираюсь в оттенках... Я – Сергей. Симонов.

– Ирина Васильевна Демидова. Про свет неплохо сказано. Необычно слышать такое от простого человека. Вы поэт?

– Последнее время я сам себе так нов, что охотно согласился бы стать поэтом, лишь бы верить, что моё состояние – всего лишь часть творческого воображения. Вообще-то я врач.

– И сами заболели, – продолжила Ирина.

– Болел или... Не знаю...

Сергей вздохнул и неожиданно рассказал ей всё, что лежало на поверхности собственной жизни: про пьянство, развод, клинику.

– Осуждаете, Ира? – Ему нравилось выговаривать её имя. – Вы-то, конечно, совсем другая.

Женщина пожала плечами.

– Не знаю, какая. До сих пор мне редко удавалось принадлежать себе. Пошли пить чай, а?

«Молодец, без кокетства», – похвалил мысленно Симонов.

Когда она завозилась с ключами возле квартирной двери, он неожиданно почувствовал, что не может войти. Сергей словно очутился за непробиваемым стеклом или видел женщину на экране: живая, милая, но далёкая, неосязаемая.

– Что же вы, входите, – позвала хозяйка с порога, приоткрыв дверь.

– Не-не могу. Извините, Ира, – пробормотал он.

– Тогда вот что...

Она исчезла в глубине квартиры и почти сразу вынырнула с бумажкой.

– Мой телефон. Звоните, если что.

«Если что», – Сергей повторил в себе и крепко смял заветную бумажку...

3

«Сон или не сон?» – первое, что утром пришло на ум Симонову. За окном ещё стояла красивого оттенка фиолетовая темень, но всё же это было утро, а Сергей лежал на тахте в кожаной куртке.

«Куртка ничего не значит. Я вчера весь день не снимал её. До того ли, когда такие дела...»

Сергей подошёл к зеркалу. Оно – великий предатель, обязательно выдаст, если что-то не так. На Симонова смотрел он собственной персоной – высокий, худой мужчина. Волосы давно и абсолютно седые. Сам он не задавался вопросом почему, но среди кусочков его калейдоскопической памяти о запойных днях всплывали разговоры соседей о нём: «Молодой же мужик, а голова сивая. Довёл себя разгуляями-то». Сергей отметил, что одет во всё чёрное: водолазку, джинсы... В шкафу висели рубашки в мелкую коричневую и голубую полоску, но он не помнил, когда носил их. В общем, ничего необычного в отраженье не нашлось. Симонов задумался о ночном приключении с Ириной, стал выстраивать логический поезд.

В пользу сна говорило то, что Сергей решительно не мог вспомнить, как добрался до дому. Но против этого довода говорила ясность и последовательность приключения. Ощущение недостоверности происходящего, что помешало войти в Ирино жилище, пропало, сейчас Симонов чувствовал себя больше собой, чем тогда, значит, всё-таки – сон? «Как, однако, крепко и странно я спать стал», – подумал он и заметил бумажный комоч, валявшийся возле тахты. Оказалось, это номер телефона Ирины Демидовой.

– Да, слушаю, – раздалось в трубке буднично, словно женщина не помнила вчерашнее знакомство, но это была точно она.

Сергей не знал, что сказать. Её голоса было достаточно для смятения. Симонов выключил телефон и пошёл на кухню варить кофе или чай, или ещё что-нибудь делать, лишь бы не думать, отвлечься.

В дверь позвонили.

– Папка, здорово! – едва скинув сапоги, с порога затрубила дочь Анна.

Они всегда понимали друг друга. В детстве соседские ребятишки дразнили Аню папиной дочкой, а та гордилась. Шло время, от Ани Сергея отдаляло всё более утяжеляющееся пьянство. Боясь причинить дочери больше горя, чем уже было, Люда долго не решалась развестись с мужем. Она пыталась бороться с его запоями, как могла, а дочке говорила то, во что сама давно не верила: «Вот папа выздоровеет, поедем все вместе к морю». Анютка подходила к беспамятному отцу, гладила по волосам и будто заговор начитывала: «Выздоровливай, выздоравливай».

– В этом деле самое страшное – знать, что никогда, ничто не изменится, – говорила Люда матери по телефону бесконечно усталым голосом. – Помнишь, покойный отец рыбу вялил? Чувствую себя такой вот вяленой плотвицей. Ничего во мне не осталось, кроме соли.

Аня выросла, и семья распалась.

– Папа, – всё ещё шумела Аня, повиснув у него на шее. – Я с лекций сбежала. Поедим?

Дочь принялась потрошить не разобранные со вчерашнего дня пакеты. Сергей наблюдал за ней и вдруг спросил:

– Ты вчера сюда заходила?

– Н-ну... да, – замешкавшись, ответила Аня. – Ты мертвецки спал. Это так красноречиво выглядело... Я уж думала, что ты опять...

– И сегодня пришла проверить?

– Прости, я волновалась за тебя.

– Ладно, проехали. Не волнуйся. У меня уже появилось дело, которое занимает настолько, что я и думать забыл о вышивке.

Они позавтракали жёлто-белой яичницей (Аня всегда прокалывала желтки, но не взбалтывала яйца) с укропом и ветчиной под весёлую девичью трескотню.

После не то обеда, не то позднего завтрака дочка засобиралась. Сергей вышел проводить, заодно решил пройти весь путь до Иринино дома и, может быть, понять, отыскать что-то такое, от чего он успокоится и заживёт, наконец, обычной жизнью.

Вдоль Иринино дома он шёл медленно, со скрупулёзностью Золушки, отбиравшей фасоль от чечевицы, сопоставлял маршрут ночной прогулки с тем, что видел сейчас.

Из подъезда вышла женщина и повернула навстречу Симонову. Всё в ней было знакомо: походка, манера поправлять волосы, держать голову. Она прошла мимо так близко, что Сергей невольно качнулся к ней. Сейчас, а не прошлой ночью от неё веяло духами, ещё какими-то едва уловимыми запахами от одежды, волос, наверное, самой жизнью. Сейчас, а не тогда можно было бы взять её за руку и прочувствовать тепло, рельеф пальцев, ладони.

Ира не узнала Симонова, и он не сделал ничего из того, что хотел: не окликнул, не пошёл рядом.

«Так нельзя. Я должен понять, что со мной происходит», – решил Сергей, вернувшись домой. Он включил компьютер и заблудился в Интернете. Сначала пробежался по форумам астрологов, предсказателей, эзо-

териков. Не найдя ничего стоящего, он «отправился» к психологам и уфологам, оттуда – к философам, на научные и медицинские сайты. Большая часть «учёных», маячивших в информационном пространстве, оказалась почти неотличима от когорты гадалок-чародеев, а на самом деле – от заурядных смертных, для которых Сергеевы душевные образы – китайская грамота. Кто-то сеял там разумные вещи, но ни сходных проблем, ни авторитетных схем лечения в итоге всё же не нашлось. Симонов кое-что помнил из психиатрии, в отличие от доморостков, у него были, хоть достаточно поверхностные, но всё же системные представления о душевном, поэтому-то он не смог никому в Интернете довериться. Каша в трактовках электронных собеседников утомила. Сергей встал, потёр глаза. Проведя пальцем по корешкам книг на стеллажах, отправился в библиотеку.

4

Ирина проснулась в хорошем настроении и решила не торопиться с работой ещё с неделю. Чутьё ей подсказывало, что Сергей обязательно позвонит, но, может, не сегодня, ведь он хирург, значит, ночные дежурства, то, сё... Размышляя так, Ирина особенно тщательно варила кофе. Ей доставляло удовлетворение каждое маленькое движение, каждый необходимый жест. Кофеварение вообще приятный ритуал, а сегодня в нём было что-то особенно чарующее.

По утрам, когда не надо никуда торопиться, Ирина любила пить кофе, подставив стул к подоконнику. Напиток медленно остывал, пейзаж за окном просветлялся, проснувшиеся мысли, не спеша, но уверенно выстраивались в привычном русле.

В эту раннюю нирвану вторгся телефонный звонок.
– Да, – сказала женщина. – Говорите.

– Ирина Демидова? – спросил мужской голос, кажется, похожий на голос вчерашнего странного знакомого, но полной уверенности у Ирины не было. – Вы узнаёте меня?

– Н-нет... Почему я, собственно, должна вас узнать?

В трубке замолчали. Чувствовалась растерянность человека с той стороны. Разговор у него строился сейчас явно не так, как следовало бы. Ирина подумала о Симонове, но не спросила: «Сергей, это вы?» Решила: пусть всё идёт своим чередом, и сбросила звонок.

Но трубка вновь затарахтела – не сотовая. Сработал домашний телефон. Нежный девичий голос просил:

– Квартира Демидовых? Можно Алексея Николаевича? Это из центральной библиотеки беспокоят.

– Нельзя, к сожалению. Уехал в Кемеровскую область. Я его мама.

– Видите ли, он не сдал книги. Мы посылали письма с напоминанием. Все сроки прошли.

– Понятно. Я поищу.

– Вы можете принести или отправить почтой.

– Сама занесу.

В комнате сына Ирина нашла две книги с библиотечной печатью. Карл Юнг «Структура психики и архетипы» и «Дао де цзин».

Выбор книг ей не показался странным. Молодёжных интересов Ирина не знала, но всякий взрослеющий человек, считала она, стремится хотя бы отчасти определить своё значение, утвердиться в мироустройстве, узнать себя, понять, на что способен, пусть и с помощью невообразимых книг. Она также знала сына. Тот и офицером-то захотел стать ради возможности преодоления трудностей, необходимости принимать решения. Однажды Алёша сказал ей: «Судьба не нить – полоса, причём вертикальная, и человек сам выбирает, по нижнему или верхнему обрезу идти». Может, он и прав...

Она повертела в руках «Дао де цзин».

«Путь по-китайски. Интересно, не из этой ли философии сын взял мысль о ленте судьбы?»

Ирина открыла книгу на случайной странице: «Преобразования невидимого бесконечны. Дао – глубочайшие врата рождения... Небо и земля долговечны потому, что существуют не для себя... Совершенномудрый ставит себя позади других, благодаря чему оказывается впереди».

«М-да-а... Сходу не поймёшь. Интересно, что мой мальчик вынес из всего этого?»

«Архетипы» женщина смотреть не стала, сложила книги в пакет.

День выдался солнечный, радостный, хоть и осенний. Яркий, тёплый, какой-то просветлённый, как вычищенное на Пасху окно, однако, пахнувший увяданьем. Кроткая радость дня будто напитывала душу, отрешая от всего суетного.

Ирина шла на остановку, ехала в автобусе, думая о сыне, о том, чего бы хотела для себя. Приятное настроение снова погрузило её в мечты, она не слышала ворчанья тех, кому невольно мешала и вскоре вышла напротив библиотеки.

Отдав книги в абонементный отдел, заглянула в приоткрытую дверь читального зала. Молчание стеллажей, готовых в любую минуту с кем угодно поделиться открытиями и заблуждениями, фактами и вымыслами, внушало спокойствие и каким-то образом умяло суету за окном.

– Чем могу помочь? – Полушёпотом, не смея нарушить пыльную тишину, заговорила с Ириной служительница зала, бесшумно появившаяся рядом.

Демидова попросила что-нибудь популярное по психологии и углубилась в поиск. Она пока не знала, чего. Возможно, точных, убедительных слов, объясняющих её предчувствие выбора, скорых перемен.

Ирина не слышала, как вошёл ещё кто-то, пошептался с библиотекаршей и взял стопку бумажной мудрости. Человек сел за последний стол недалеко от выхода и затих, словно растворился...

Время в библиотеке бесшумно проскальзывает мимо читающих, заглядывая к ним через плечо, но никого не толкнёт под локоть, никому не шепнёт: «Пора домой».

Ира закрыла книгу и поднялась из-за стола с чувством, что блуждала где-то в преддверии разгадки, но так и не нашла её.

Не нарушая установленной тишины, она двинулась по проходу к двери и заметила: незнакомец за последним столом спит, положив на локти в чёрной водолажке седую голову вниз лицом. Ирина улыбнулась, как улыбаются безмятежной беззащитности кого-то из близких, дорогих людей, может быть, ребёнка или любимого.

5

Город готовился к скоротечному осеннему вечеру. Ира высматривала какое-нибудь кафе и заметила невдалеке Сергея. Он тоже увидел её, махнул, чтобы подождала, и подошёл. Кафе было тут же забыто.

Ирина и Сергей бродили по городу, говорили обо всём, перескакивая с темы на тему. Выплетаясь одно из другого, иной раз рождались суждения, неожиданные для обоих. За годы человек, оказывается, неосознанно успевает зацепить взглядом, мыслью несметное количество вещей, явлений, лиц. Подсознание трамбует, упорядочивает их по своему желанию, выдавая потом в виде снов и неожиданных открытий.

Работа, вечные заботы, которых с Ириной никто не делил, не оставляли, казалось, и пяди свободного места в душе. Когда она успела подметить, запомнить то, о чём сейчас с увлечением рассказывала Сергею?

Он слушал, почти всегда только слушал, редко выдавая что-нибудь неожиданное сам. Иногда его молчание становилось таким... пустым, что Ирина незаметно для Сергея, пыталась заглянуть ему в глаза, подметить улыбку, недоумение – что-то такое, что хоть как-то нарушало его неживое молчание. Но Сергей начинал говорить, и отчуждение пропадало. Из разговоров, схожих и несхожих впечатлений строилось их душевное единение.

Сергей слушал Ирин голос, внезапно становившийся то гулким, словно в органном зале, то далёким, звучащим где-то над его головой, то сильным шёпотом в ухе, чуть ли не внутри черепа. Симонову стоило труда следить за смыслом разговора.

– Я так и не понял, вы где-то работаете? – спросил Сергей.

– Пока нет. Дам себе ещё пару дней отдыха. Для меня это большая и желанная роскошь.

– Чем же собираетесь наполнить эту роскошь? Принято считать, что для женщины нет ничего страшней одиночества.

– Ну да, о нём говорят как о величайшей трагедии. А я, по-моему, с ним подружилась. Впрочем, это скорей временное уединение. Я была одинока, когда рядом кто-нибудь оставался.

Ирина помолчала.

– Когда ушёл муж, мне говорили: «Ты осталась одна». Одна, понимаете? А были ещё мама и сын. Никто не верил, что после семнадцати совместных лет расставание приносит облегчение, хотя, что тут противоречивого? За столько лет можно от чего и от кого угодно устать. Помню, муж приходил с работы, молча проглатывал ужин и так же молча сливался с диваном. Я только что не выла от тоски... В день смерти мамы я действительно осиротела. Горевала, будто полсердца

ампутировали, а во сне видела весёлую маму, и та говорила мне: «Я отмучилась, и ты отмучилась». Когда сын поехал служить, мою печаль заглушала уверенность, что так надо. Я готовилась к этому все пять лет его учёбы. И вот теперь по-настоящему одна. Знаете, Сергей, я стала открывать удивительные вещи.

– Какие же?

– В Летнем Саду на фонтане у ангела правая рука длиннее левой, а листья у двух рябин под моими окнами распускаются и облетают не одновременно.

Сергей улыбнулся.

– А ещё я перестала стареть.

– Надо же. Вы действительно не выглядите пожилой матроной.

– Не смейтесь. Раньше время постоянно обнаруживалось в джинсах и футболках, из которых Алёшка год за годом вырастал, в угасании мамы. Теперь мои родные не со мной, и время остановилось... Ну, а вы?

– Моё время шло мимо меня, в запоях и лечении. Я и сейчас не знаю, здоров ли...

Сергей запнулся на слове. Ира тоже молчала, позволяя Симонову самому решить, рассказывать ли дальше. Тот неуверенно произнёс:

– Со мной что-то происходит. Раздвоенность какая-то...

– Есть люди, которые постоянно ведут внутренний диалог с собой. Я тоже. Не знаю, зачем природа это устроила, но мне кажется, я так принимаю более взвешенные решения, выравниваю перепады настроения, в общем, обретаю душевное равновесие. Может быть, и вы тоже? Наверное, так выглядит ваш внутренний диалог. Что-то вроде самотерапии. И потом, чувства в недомоганиях обостряются, а вы, видно, здорово мучились.

– Было... Гм, немного странно, что бухгалтер ставит диагноз врачу.

Ирина пожала плечами.

– Лечат не только врачи. Солнце, море, лес, камни – та же терапия. Мать выхаживает ребёнка. Никто не видит в этом странного.

– Простите, если обидел. На самом деле я рад, что вы со мной так... Почему вы верите мне?

– Потому что вы не задаёте вопросов о сокровенном и сами не слишком откровенничаете. И не подгоняете события.

Сергей чуть улыбнулся.

– Но не потому, что не хочу... Считаете меня сумасшедшим?

Теперь усмехнулась Ирина.

– Вряд ли вы безумны. Я сегодня читала.

– Интересуетесь психиатрией?

– Н-нет... Ищу: в чём смысл существования человека, который уже выполнил всё, что считал этим смыслом.

Неспешно беседуя, они дошли до Ириного подъезда. Неожиданно девятиэтажный дом стал медленно, закрывая небо, крениться на Сергея и ничего не замечающую Иру. Качели, дворовые постройки вытянулись в направлении мужчины и женщины, словно те были центром притяжения. Сергей разволновался от неправдоподобия всего вокруг, ему захотелось бежать.

– Я должен идти, – сказал он торопливо.

Сергей смотрел на спокойную Ирину с тревожной надеждой, будто искал, за что ухватиться, не поддаться настойчивому зову другой своей жизни. Он хотел коснуться плеча женщины, но мгновенно выбрал другое: бросился в темноту.

6

Реальность вклинилась в сознание чужим приглушённым голосом:

– Мужчина, мужчина-а.

Аккуратная седая женщина в очках совершенно белыми, холодными пальцами трясла Сергея за плечо.

Симонов поднял голову и огляделся. Кроме него и торжественной старушки-служительницы в читальном зале никого не было.

– Как же вы страшно спите. Напугали меня. Не могла добудиться... Мы закрываемся, – шёпотом, словно ещё кто-то спал, пояснила старушка.

– Да. Иду. Извините.

По дороге домой Сергей обдумывал библиотечный сон или транс, где снова была Ирина, где они разговаривали, слоняясь по улицам, растались у неё во дворе, и снова Симонов не знал, каким чудом вернулся в библиотеку. Просыпаться в этот раз было труднее, чем в первую после больницы ночь. Засунув руки в карманы и подняв воротник, он не столько прятался от холода, сколько от внешних сует и шума, чтобы подумать.

Итак, размышлял Симонов, какова картина реальности? Двоение личности. Главное условие – сон. Что же получается? А то, что пока настоящий Сергей спит, его призрак бродит по вечерним улицам. Почему фантом появляется? Вероятно, из-за чего-то важного... Поскольку двойник – часть личности Симонова, ему должно быть важно то, что и хозяину. Значит, если бы реальный Сергей надеялся снова сблизиться с Людой, призрак скорее всего крутился бы возле квартиры Львовны, и сны были бы связаны с окружением бывшей жены. Если бы внутренней задачей Сергея было восстановление отношений с дочерью, приведение бродило бы за ней... Стало быть, если фантом всюду отыскивает Ирину, значит, пора признаться, что для Симонова она на удивление быстро стала значимым человеком. Да и сама общается с призраком охотно, иначе откуда бы у Сергея записка с номером её теле-

фона. Вот только для неё встречи с фантомом – не сон, а реальная жизнь.

В мире, куда неизменно (и слава Богу) приходит день, у настоящего Сергея, случается, болит голова, ноют натруженные ступни, мёрзнут руки и грудь. Его мир – город, с которым связано прошлое, настоящее, будущее. Здесь случались запои, доведшие до «наркушки». Здесь он сущесъвует в двух важных ипоста-сях: врач и отец. И в этом мире Симонов хотел бы жить с Ирой, но та его не узнаёт ни по телефону, ни воочию. Ирина Демидова – живая, реальная женщина, правда, для настоящего Сергея она пока только мечта.

Сергей решил, что обязательно поговорит с ней сам, в дневное время, но это позже. Сейчас важнее понять, как прекратить раздвоенность личности.

«Не спать! – неожиданная мысль осенила заблудившегося в вопросах Симонова. – Тогда двоения не будет, не будет призрака».

За этой думой пришли другие. Ну не поспит Сергей одну ночь, скажем, на дежурстве в больнице, с трудом протянет ещё пару ночей, но потом-то заснёт, незаметно и глубоко, а именно этого никак нельзя допустить, ведь чем глубже сон, тем сильнее фантом. И всё же Сергей надеялся, что с возвращением в рабочий ритм, в заботы привычного порядка, сны с фантомовыми прогулками потеряют силу достоверности и потом как-нибудь совсем перестанут сниться.

Надежды не оправдались. Начинались и заканчивались дни. Сны, где фантом Сергея бегал на свидания, продолжались, и всё мучительнее давалось пробуждение.

В очередное рабочее утро, на совещании, совсем нестати Симонову привиделась бывшая жена Люда. Она шла по больничному коридору в процедурную. Дима семенил навстречу, в кабинет заведующего отделе-

нием на собрание-пятиминутку. Взгляды Люды и Димы встретились. Они ничего не сказали друг другу, но Люда опустила глаза и улыбнулась в пол.

«Ничего себе!» – удивился Сергей.

– Симонов!

От неожиданного оклика заведующего Сергей проснулся в ту минуту, когда в кабинет вскочил припоздавший Дима и в полуприседе протискивался между коллегами на свободный стул.

– Извините, в приёмном покое больного осматривал, – негромко пролепетал хиромант, но его оправдания не нужны были заведующему, может, он их даже не слышал, поскольку строго смотрел на Симонова.

– Вы что, спите? Возьмите себя в руки. Работать надо, включайтесь, – сухо отчитал Сергея начальник.

– Да-да, виноват, – выговорил Сергей растерянно, мотнув головой, чтобы прогнать мимолётный сон, но и вникнуть в то, о чём говорил заведующий отделением, как ни старался, не смог. Надо было найти какой-нибудь способ контролировать себя.

Из сонмища литературы Симонов теперь выбирал статьи о том, как управлять психикой, волей. Тренировался концентрироваться, но мало что получалось. А иной раз казалось, что и получается. Сергей взбадривался, засыпал, надеясь на полноценный сон, но ему снился... он сам, издевательски улыбающийся себе же. Симонов искал причину видений, но логика не подсказывала ему ничего, во что можно было бы поверить и принять как объяснение. Главное, чего он не мог понять, так это почему и после сотой неудачной попытки его надежда обрести душевную целостность всё ещё жива. Он снова и снова упрямо напрашивался на ночные дежурства.

Между тем, сны-прогулки с Ириной, хоть и реже, но продолжались, привязанность к ней крепла, возвра-

щаться из забытья-транса стало невыносимо тяжело. Сергей-фантом упорно рвался к женщине, а настоящий Сергей жаждал вернуть себя. Противостояние обострялось.

7

За время Сергеевого недуга фантом привык к себе, уверился в возможностях и стал что-то уважительное понимать на свой счёт. Но с тех пор, как Симона выписали из наркологической клиники, призрак не чувствовал себя уверенно. А тут – любовь, новое, не изведенное им до сих пор явление – не чувство - море чувств, вселенная переживаний. Вот когда по-настоящему нужны сила и свобода, а они именно теперь стали притупляться. Наряду с большим счастьем появилось и чувство неполноценности. Отчего оно возникло? Фантом не знал. Ему пока удавалось заставлять настоящего Сергея засыпать где ни попадя, но не было дня, когда слабость оставляла призрака.

Фантом стал бояться света, даже фонарного. Приходилось хитрить, уводить Ирину во время прогулок в улочки потемнее. Покидать Сергея днём он не мог, хотя мог заставить уснуть. При солнечном свете Ирина запросто разобралась бы, что фантом не тот, кем он отчаянно хотел для неё быть. Женщина пока не замечала (или старалась не замечать) разницы между ним и реальным человеком. Её разочарование было бы для фантома убийственно, а ему как никогда страстно хотелось жить.

Призрак паниковал, пытался вырваться из Сергея, каким-то образом противопоставить его окружающим, чтобы чем-то, как-то сломить. Скоро фантом понял: люди, кто не жалуется его хозяина, не помогают и призраку. Окружающие будят Сергея и обрывают

фантомовы путешествия. Они критикуют Сергея и подстёгивают его волю, заставляя бороться с собой, значит, и с призраком.

Будучи порождением, частью Симонова, призрак мог всё и ничего. В его власти было внушить своему хозяину любую идею, желание, но при осмыслении будущего результата оказывалось, что каждое внушение неизбежно приведёт к гибели самого фантома. Так что стоило подумать, как избавиться от связи с Сергеем.

Но всё подвластно пытливым умам. Кто ищет, тот найдёт. Призрак и Сергей хотели одного и того же: полноценной самостоятельности. Симонов искал: копил, раскладывал по полочкам сведения по психологии, психопатологии, психиатрии, но пока не знал, зачем ему такая бездна знаний, она ещё не дала никаких ответов, зато призрак понял, как и что можно предпринять, и решил действовать незамедлительно.

«Сергей», – услышал Симонов, проснулся, но недвижно лежал лицом к окну. Зов показался ему собственной мыслью, но голос прозвучал снова: «Давай поговорим».

Сергей перевернулся на спину. Где-то в стороне, не прямо в окне, сияла полная луна, отчего сумрак в комнате был светлым.

«Проснулся?»

Симонов сел и увидел на тахте в изножье... самого себя.

«Отпусти меня», – без обиняков попросил призрак.

«Каким образом?»

Фантом усмехнулся.

«Тебе, врачу, рассказать, как это делается?»

Сергей откинулся на подушку. Намёк ему не нравился.

«К чему этот разговор?»

«Я люблю Ирину, хочу принадлежать ей».

«Что мешает нам вместе стать частью её жизни?»

«Нам с ней не нужен алкоголик и неудачник. Всю жизнь ты лелеял глупые амбиции на работе, обижался, пил, чтоб вдохновиться своими достоинствами, утешиться надеждой на лучшее завтра. Но отрезвев, ты всякий раз понимал, что обманывался, и признание с уважением тебя вовсе не ждут. Родные вразумляли, друзья раззадоривали и наливали, а правды не сказал никто. Тех и других возле тебя становилось всё меньше. В конце концов, у тебя остался только я. Я, твой вечно трезвый внутренний голос, предупреждал, что всё это плохо кончится. Ты не слушал или уже не мог ничего сделать. Теперь я хочу уйти. Не сегодня – завтра ты бесповоротно слетишь с катушек, а я потеряю Ирину навсегда».

«Послушай, юный влюблённый, – сказал Сергей тому себе. – Неужели не понимаешь, что всё равно наступит день, меня что-нибудь или кто-нибудь обязательно разбудит, а тебе волей-неволей придётся уйти в бессознательную часть моей личности».

«Конечно. Но пока ты спишь, у меня будет время кое-что предпринять».

«Любопытно, что же?» – Сергей даже поёрзал.

«Это секрет. Уясни одно: я помню то, что ты забыл, а значит, знаю больше тебя. Ну, отпустишь меня к Ирине?»

В загадочных словах Сергей почувствовал смутную угрозу. Он ещё не разобрался, чем и кому именно угрожает фантом, но медицинские знания безумца – опасное оружие против окружающих. Симонов постарался не выдать тревоги:

«Кончай разводиться демагогию. Я ей всё расскажу про себя и тебя, ясно?»

«Она не захочет слушать. Да и что ты ей скажешь? Какой нормальный человек тебе поверит?»

«Всё, хватит, надоел».

Сергей повернулся к окну и зажмурился.

Когда он снова открыл глаза, уже почти рассвело.

Симонов включил свет, потёр ладонями лицо, будто умылся, и вдруг усмехнулся неожиданной простой мысли: «Раз этот явился ко мне, значит, ему тоже несладко. Видимо, в чём-то я сильнее его. Понять бы, в чём...»

8

Дима сидел, закинув на спинку стула левую руку, и постукивал карандашом, переворачивая его с острия на колпачок, дослушивая длинный монолог Симона.

– Когда я с Ириной, то будто в стереокинотеатре: вокруг идёт действие, но оно для меня неощутимо. Это как от всей души руку в скафандре пожимать. Радость есть, рука есть, и ты вроде бы её пожал, но ни тепла, ни силы не почувствовал. Мы с Ириной расстаёмся, и я обнаруживаю себя проснувшимся. Реальность накапывает валом, даже воздух мне кажется тяжёлой материей. Всё чувствую кожей, носом, языком, но усталость такая, словно душа изнасилась или даже её вовсе нет... Если б я понял причину двоения, смог бы найти способ избавиться от него. А ещё видения в кухне, трамвае, то, как я сумел линию обесточить... Что скажешь? – спросил Сергей.

– М-м-м... – промычал приятель, изображая раздумья знатока. – То, что ты связываешь экстрасенсорные способности с пьянством, думаю, верно. Даже и не сам алкоголизм, а точка перелома с последующим лечением, возможно, спровоцировала появление фантома.

– Мудрёно, но я не «возможно», а точно хочу понять, что со мной происходит.

– Нэт, дарагой, – перебил его Дима с шутливым акцентом. – Ты не понять хочешь, а избавиться от двоения, наваждения, или как там ты всю эту чертовщину называешь, хочешь стать обычным. Биполярное расстройство мы тоже исключим, ты не болен.

– Уверен?

– Вспоминай университетский курс. Ты отдаёшь себе отчёт в своей ненормальности. Вот и думай. Вообще, возникновение фантомов не так уж необычно и редко. В юнговских статьях есть примеры даже и коллективных видений.

– Понятно. Ну а мне-то что с этим делать?

– Ответа нет, но он появится, если будем искать. Начнём с простого, – Дима поелозил на мягком стуле, удобнее пристраивая своё тучное тело, излучающее удовольствие от предстоящих умозаключений. – Незабвенный Карл Густав усматривал в воображении первичную творческую способность, различал пассивное фантазирование и активное воображение, – в нём стоит поискать ключ к разгадке твоего необычного состояния. Тут и задача и решение. Чересчур раскачанное воображение создало твою проблему, если только это действительно проблема.

– А разве нет?

– Тот же Юнг усматривал в ярком воображении врачующий момент. Фантом, которого ты создал этим самым воображением, вовсе не проблема, а её решение. Твоя психика, возможно, с его помощью защищается от, ну, скажем, подсознательной тяги к алкоголю.

– Дима, – с нажимом возразил Сергей. – Я не испытываю тяги ни к выпивке, ни к снотворному и наркоте, и вообще боюсь всего этого. Боюсь, что выпью, усну, и фантом натворит бог знает чего.

– Этого боишься ты. А чего боится фантом? Ты проанализировал ход своего... гм-гм... недомогания? Как было в первые дни, как теперь? Когда тебе легче: днём или ночью, в первой или второй половине дня? Нашёл какие-нибудь ещё изменения в ваших с ним отношениях, хе-хе?

– В первое время я мог вырубиться где и когда попало: в трамвае, например. Но так: если заснул днём – вижу некую сцену, где меня как бы нет, если ночью – путешествую с Ириной. Сначала я уверен был, что сам хожу с ней, но с каждым разом всё яснее чувствую, будто с Ирой другой человек. Хуже это или лучше? Не знаю... Последние несколько дней отключаюсь только ночью.

– Так и отдыхай днём.

– Пробую, но с нашей работой... Да это и не решение задачи. Я выздороветь хочу.

– М-да-а... Что тут можно посоветовать? Самое простое – ждать и постараться не думать о своём состоянии трагически, отвлечь себя любыми не опасными способами, не усугублять проблему постоянными погружениями в неё. Ещё хороша стрессовая ситуация: нутро мобилизуется, фантом потеряет самостоятельность и вольётся в рамки тебя.

– Такую ситуацию не создашь, в неё попасть нужно.

– Вот я и говорю: нужно время. Совет: почитай классиков. А хочешь, я устрою тебе стресс – хлопну по башке, например?

– Ну тебя, – отмахнулся Сергей, слегка разочарованный простотой решения.

– Вот она, человеческая благодарность, – пафосно воскликнул Дима.

Он не обижался на друга, между ними давно всё было определено.

Сергея, однако, не устраивало ожидание спасительного случая, который может подвернуться нескоро

и неизвестно, поможет ли. За две последние недели Симонов перечитал массу всякого печатного слова, что прямо и окольно открывало ему глубины разных тонких материй, и возможно, если б хотел, превзошёл по этой части Диму. Сергей старался меньше спать по ночам, учился управлять мыслями, оттого был всё время погружён в себя. Это малозаметно помогало справиться с проблемой, больше изматывало.

В больнице давно заметили его состояние, но Симонов понял это не сразу.

Однажды после планёрки на выходе из кабинета заведующего его за локоть придержал Дима. До того, – Сергей заметил, – приятель перекинулся с заведующим парой слов.

– Ты рассеянный последнее время, осунувшийся какой-то. Это то, о чём мы с тобой говорили, или... У тебя с этим делом как? – Дима щёлкнул себя указательным пальцем по мякоти белого подбородка.

Вместо ответа Сергей дохнул на него, давая понять, что оценил глупость вопроса.

– Ну, ну, – продолжал Дима. – Мы же медики. Неужели способов не знаем?

Симонов понял намёк, разозлился и теперь ритмично стискивал челюсти, чтобы не вспылить.

– Может, интрижка с какой-нибудь чаровницей? – игриво-таинственно перевёл разговор парapsихолог, желая разрядить напряжение, но вышло только хуже.

– Это никого не касается, так ведь? – Сергей процедил слова через едва разомкнутые челюсти и грубо стиснул рукав Диминого, картонно наглаженного халата.

Уже в коридоре Дима с огорчением глянул на звездоподобную мятину от Сергеевой хватки.

– Не касается, не касается, – с досадой пробурчал толстяк. – Зав поговорить с тобой просил. Ты же зна-

ешь, после запоев тебе не особенно доверяют. Замечать стали, слушки пошли...

– Слушки-и? – громко спросил Сергей (вышедшие следом сослуживцы оглядывались на ссорящихся друзей) и дёрнул Диму за крахмальное ухо воротника. – А не с твоего ли они языка, эзотерик хренов?

– Псих, отпусти, – прошипел приятель, пытаясь освободиться от хватки Симонова.

Тот, отпихнув грузного Диму, ринулся обратно в кабинет заведующего, выхватил из принтера лист, из рук секретарши ручку и написал заявление об уходе.

Надевая куртку, Сергей выскочил в больничный сад, за ограду, на площадь. Он решил поговорить с Ирой сейчас, а не в очередном забытии. Несколько раз он звонил ей с дежурства, из дому, пытался объяснить, но она каждый раз выключала телефон.

Дойдя до остановки, Сергей поостыл и понял, что где-то даже рад увольнению. Как ни погружён был он в себя, подспудно, оказывается, его всё-таки угнетало недоверие и насторожённость коллег, но с этим теперь покончено. В ожидании трамвая он немного успокоился и мысленно вернулся к главной проблеме.

«Как Дима говорил? Понять, что фантому нужно... Призраку даёт силы больное воображение. В недавнем прошлом так и было: алкоголь, уколы делали его практически самостоятельным... Потому-то у меня в памяти то, чего я никак не мог видеть и слышать: разговор тёщи с Людой! Но водка и лечебные снадобья рано или поздно привели бы нас обоих к гибели. Выходит, пока я не выпил или не укололся, мне фантом вообще не опасен».

Поняв про себя, Симонов переключился на мысли об Ирине. И тут ему стало не на шутку тревожно. В массе статей и монографий о слабости и силе психики человека, он познакомился с различными

практиками внушения, страшными по своей разрушительной результативности. Человеку можно внушить что угодно без вина и таблеток, и если фантом имел в виду эти знания, то он обязательно попытается поиграть с чувствами Ирины да так, что всё кончится для неё пожизненной психушкой, ведь Сергей-фантом ей явно нравится, и она – женщина. «О, Господи! Вот, где главная-то проблема. Помощь нужна не мне, а Ирине».

9

Сергеевы сны – свидания фантома – продолжались. Но для Ирины прогулки по сумеречным улицам перестали быть свиданиями. Её отношения с тем, кого она принимала за влюблённого в себя мужчину, всё менее походили на настоящие. Её кавалер (само это слово в понимании женщины утратило прямой настоящий смысл) о своём житье-бытье рассказывал мало. Последнее время был задумчив – не то зол, не то печален, выбирал для прогулок улочки-закоулки или вообще не хотел ходить, они сидели на детской площадке в Ирином дворе. Они подолгу молчали, и у Ирины возникало острое ощущение, что рядом с нею никого нет. Она смотрела на своего спутника и почти не доверяла зрению, настолько нереальным казалось его присутствие. Ирина ничего не выспрашивала. Хотела добровольной искренности. А друг о своём самочувствии ей теперь не рассказывал.

Ирине казалось, вот-вот наступит момент, когда романтика станет ощущаемой, но он не наступал. Мужчина по-прежнему обращался к подруге на «вы», не просился в гости, не пытался обнять или хотя бы прикоснуться. Иру с каждым днём сильнее тянуло к нему, но она не понимала, чувствует ли он то же самое.

В общем, роман застрял. Не развивался и не угасал. Пару раз Ирина пыталась взять своего друга (так до сих пор она считала) за руку, но тот оба раза ловко избег этого. При каждой новой встрече она готовилась всем существом прочувствовать тепло рук, аромат тела, вкус поцелуя мужчины, но свидание заканчивалось, они прощались и – ничего. Ничего!

Однажды Ира объявила, что не хочет продолжать знакомство. «Да-а, понимаю, но... А...» – растерянно проговорил «друг» и ушёл.

Потом было несколько телефонных звонков. Какой-то чудак что-то сбивчиво нёс насчёт Сергея (или это он сам и был?), но Ирина отключала трубку, не пытаясь вникнуть в суть услышанного.

Однажды во дворе ей повстречался странный человек, и всё вообще встало с ног на голову.

– Здравствуй, Ира, – слышно окликнул он её и быстро подошёл. Было видно, человек волнуется, многое хочет сказать, потому ничего и не получается.

Ирина непроизвольно приподняла плечо, словно пытаясь защититься.

– Я – Сергей. Симонов.

Несуразный роман, сумасшедшие звонки, незнакомец смешались в одну невообразимую историю, логики которой Ирина не понимала. Незнакомец этот действительно походил на Сергея, только, кажется, был старше.

– Не смешно, – коротко бросила Демидова.

Она посмотрела в истрепленное неведомой заботой лицо с покрасневшими веками, хотела уйти, но мужчина не отставал.

– Погоди...те. Посмотрите ещё. Неужели я не похож на того... на себя?

Ирина ускорила шаг.

– Да не убегайте же, – он догнал её, схватил за локоть.

Сильная, пусть и не грубая хватка выдавала смятение незнакомца также красноречиво, как глаза и голос. Его притязанье обидело Ирину, ведь даже закончившийся роман невозможно выбросить из сердца в одночасье.

– Хотите знать, произвело ли на меня впечатление ваше сходство с ним? – сдерживая негодование, спросила женщина. – О, да, конечно. Цирковой номер удался. И что теперь? Я должна кинуться к вам в объятья?

– Зачем ты так...

– Как бы ни было, вы – не он. Сергей не хватает меня, не бежит следом с объяснениями, не говорит мне «ты». Он вообще – другой.

– Другой, да... Но как же ты... вы поняли это, если видите меня впервые? – воскликнул пришелец.

Ирина выдернула руку и поспешила прочь. Сергей крикнул вдогонку:

– Он всегда находил вас без предварительного звонка. Вы рассказывали про ангела в Летнем саду и рябины. Позавчера вы с ним расстались, не объяснив причины.

Слова поразили Ирину, но она решительно захлопнула подъездную дверь, так и не обернувшись. Дома Демидова попыталась спокойно размышлять.

Зачем приходил этот человек? Как они с Сергеем связаны? Братья? А может, тут загадка двоения, о котором он рассказывал, и на самом деле... Что же на самом-то деле? Оба – один человек? Бред, бред. Слишком много разного. Незнакомец осунувшийся, усталый, глаза блёклые, неизвестного цвета, тревожные. Вся его фигура – весомая, ощутимая. Совершенно не с чем сравнить. У Сергея, какого она знала, глаза тоже неизвестного цвета, Ирине ни разу не удалось рассмотреть их. Она, оказывается, не знает о своём избран-

нике ничего такого, что раскрывало бы в нём человека со всеми житейскими обыкновениями и привычками: ломает ли он хлеб, когда ест, стучит ли ложкой об стакан, помешивая чай, поднимает ли плечи, ёжась от холода...

10

Ирина уходила. Глядя ей вслед, Сергей поднял зачем-то руку и опустил, будто плетью стегнул по безнадёжности.

«Не узнала меня. Не захотела узнать... Эх, дур-рак, зачем разборки устроил...» – клокотали в голове Симонова мысли, а в груди саднило.

Он побрёл в противоположную сторону не потому, что ему туда надо, а чтоб и краем глаза не задеть потерянной надежды.

Улица, словно припугнутая отчаянием человека, сплошной вереницей фасадов равнодушно проскальзывала мимо, никак не давая человеку понять, что тот шагает не по тротуару.

С проезжего полотна на обочину резким гудком Сергея согнал «хаммер». Машина вторглась в его обиды нагло, словно они помешали ей нести миссию авторитета своего хозяина. Вездеход ещё раз зычно рывкнул уже издали, поглумившись над досадами пешехода. Симонов зло дёрнул уголком губ.

Дома он встал под прохладный душ, дышал водой, хватал ртом, пытаясь умалить горечь разрыва.

Оставляя за собой лужи следов, Сергей добрёл до шкафа и выбрал рубашку в клеточку, которую когда-то считал самой неудачной Людиной покупкой. На чёрные водолазку и джинсы он уже не мог смотреть, – надоела таинственность любого рода. Он хотел обыденности, простоты, без двойственности, без

наваждений. Шлёпанцы нашлись у входной двери. Симонов нагнулся за ними. Входная дверь распахнулась и впечатала дверную ручку ему в лоб.

– Ой-ё-о, – сдавленно простонал страдалец, обеими руками накрыв ушибленное место.

– Ах, Господи, – пробасила дочь. – Пап, что ж ты двери-то не запираешь?

– Что ж ты ломишься-то без звонка? М-м-м...

Анна ринулась в кухню и завозилась, хлопнув дверцей холодильника.

Раздалось сотовое тарактенье. Сергей взял с тумбочки сотовый и включился. В трубке тревожно залепетал Людин голос:

– Тебя уволили? Что, снова за старое?

– А у тебя роман с Димой, – неожиданно для себя выпалил Сергей вместо оправдания. – Вот им и занимайся.

– Ну, знаешь... Правильно мама говорила... – попыталась изобразить возмущение жена, смутилась и отключила телефон.

Сергей бросил трубку на тумбочку, потащился в кухню и попал в могучие руки дочери. Взяв отца за плечи, она усадила его к столу и сунула в руки полотеничный узелок со льдом.

– Полегче, Клара Цеткин, – пробурчал Симонов. – Тише на поворотах, а то ты мне второй глаз подобьёшь.

Дочь в самом деле была шумной, неуклюжей в движениях, при том неумолимо жизнерадостной.

– Папка, я замуж выхожу, – вдохновенно сообщила Анна.

Холод неприятно ужалил ушибленную бровь, Сергей поморщился.

– То есть?

Он, конечно, понял Анну, но ведь новость надо ещё как-то осознать.

– Ну вот, сразу капризничать, будто я единственная на свете девушка, которой для замужества нужны особые причины.

– Так они есть, причины-то?

– Не беспокойся, не беременна, – весело ответила новоявленная невеста.

– Тогда к чему спешка?

– А как я перед Богом-то оправдаюсь, зачем жила на этом свете?

Сергей недоумённо посмотрел на дочь. Та, пряча улыбку, повернулась к плите, где затевала яичницу, и продолжала развивать мысль:

– Грешников он узнаёт по грехам, талантливых – по свершениям, праведников по молитвам. А если ни рыба, ни мясо – тогда как? Если я никому не принадлежала, как бог узнает, жила ли я на земле или отлынивала где-то в межпространстве?

Людмилу всегда сердила привычка дочери шутя говорить о серьёзном, и Сергей сейчас вполне понимал бывшую жену.

– Но почему сразу замуж-то? Может, как все? Сначала профессия, карьера.

– Кто все, пап? Поэт, врач – это от Бога. Такому поприщу стоит жизнь посвятить. Но положить десятилетия на товароведенье... Смешно.

– Тогда зачем в торговый учиться пошла?

На сковороде зашкворчало, капельки масла заройлись, будто на раскалённой арене циркачи-невидимки жонглировали тысячей переливчатых мячиков.

– Считай, в порядке земного поиска себя.

Сергей отложил мокрый узел, которым забыл пользоваться.

– Кто жених?

– Человек. Будущий журналист.

– Тоже будущий и тоже в порядке поиска себя... Жить на что собираетесь?

Анна вздохнула, снимая кушанье с огня.

– Ты как мама. А ещё говорят, что мужчины думают и оценивают всё по-другому. Мы жениться собрались, а не институты бросать. Подработку найдём. С детьми придётся повременить.

– Бог в помощь, – устало сыронизировал отец, махнув рукой, которой тут же попал в подставленную сковороду.

– А, ёлки зелёные! – сквозь зубы процедил бедняга и затряс рукой. – Что за день-то сегодня.

Дочь прыснула и протянула покинутое полотенце со льдом.

После совместной трапезы Аня ушла.

Только теперь, сидя за кухонным столом в одиночестве, Сергей почувствовал, как дико, адски устал от всех дневных потрясений. Шишка над бровью, которая неизбежно сползёт на глаз синяком, ожог его беспокоили меньше всего. Он поставил локти на стол, прислонился лбом к пальцам, сцепленным в замок и закрыл глаза.

Он увидел фантома у постели Ирины, держащего её ладонь. Выражение лица женщины, исполненное неестественным блаженством, казалось ужасным.

Сергей потерял равновесие и очнулся. Минутное видение напомнило ему: Ирине грозит опасность.

«Пусть даже она снова отошлёт меня, но я должен увидаться с ней и предупредить. Главное не заснуть, тогда этот галлюцинат не сможет ничего ей внушить», – постановил Симонов и вызвал такси.

– Рок слушаешь, плейер есть? – спросил он у таксиста, назвав конечный адрес.

– Ну, – подтвердил тот.

– Давай. И гарнитуру. Растолкай, если усну, – приказал Симонов, заплатив сразу, и включил тяжёлый рок на полную громкость.

Они поехали. Сергей всё же заснул, не смотря на взрывы музыки в ушах.

«Слушай меня-а», – снился ему звук собственного, угрожающе спокойного голоса и виделось Ирино окаменевшее в безумном восторге лицо.

Такси остановилось возле дома Демидовой, водитель растряс спящего пассажира. Тот выскочил из машины и заметался вдоль многоэтажки. Ирины окна темны. Спит? Или уже в трансе? Ждать нельзя. Сергей набрал Ирин номер. Казалось, длинные гудки шли вечность. «Только бы ответила. Пусть пошлёт подальше, только бы ответила. И даже лучше, если пошлёт: буду знать, что она не загишнотизирована», - внутренне умолял провидение Симонов. И, наконец, услышал в трубке:

– Да.

– Ирина, здравствуйте, это Сергей. Вы в порядке? Вам грозит опасность. Я у вашего дома, спуститесь, это важно.

– Да, да, я смотрю в окно, вижу вас. Только ничего не надо, Сергей. Со мной всё нормально. Спасибо, конечно, что беспокоитесь, но не стоит, право. И давайте обойдёмся без объяснений. Спокойной ночи.

Она выключила трубку. А Сергей улыбнулся: «Узнала. Наконец, узнала настоящего меня».

11

Во сне не поражаешься никакому абсурду. Можешь переживать что угодно, но ничему не удивляешься. Ирину не смутило то, что на её постели сидел Сергей.

– Нам нужно поговорить, – произнёс он. – Вчерашний безумец, который пытался объясниться с тобой

на улице, – настоящий Сергей, а я – всего лишь игра воображения. Если тот умрёт, и мне не жить, ведь я питаюсь силой его и отчасти твоей фантазии – фантом, понимаешь? Ненавижу Сергея. Он – моя тюрьма, борется со мной и бодрствует, и бодрится, а я свободен только во время его сна. С некоторых пор я рискую исчезнуть вовсе. Ты ведь любишь меня, прими к себе в душу, я стану твоей частью. Сергей нам будет не нужен.

От неожиданности Ирина кашлянула.

– Ка-ак ты про мою любовь-то... Я вроде ничего подобного не объявляла. Да и на «ты»... Прогресс в наших отношениях, – не без иронии проговорила Демидова. – Допустим, я согласна. Но постепенно Сергеево заменится моим, ведь тебе придётся питаться только моей фантазией, и ты перестанешь быть... То есть, тебе всё равно конец.

– Это можно изменить. Ты должна будешь только верить в меня, но верить всецело, непреложно, не подвергая критике и сомнениям. Я помогу тебе обрести такую веру. Мне известно, как её достичь. Сергей много всего прочёл по этой части, я запомнил. Я и сам буду жить только тобой, буду твоей тенью, буду всем, чем ты захочешь. Каждая женщина мечтает о таком поклонении.

Ира согнула под одеялом ноги, положила на них подбородок. Одеяло натянулось, и стало походить на обелиск, увенчанный женской головой.

– Как думаешь, почему я перестала встречаться с тобой? – спросила она и тут же ответила. – Женщине важно душевное родство больше, чем внешность избранника, это так, но любить – значит соприкасаться не только душами. Протянуть чашку чаю, расправить шарф на груди любимого, взъерошить ему волосы... А классическое «коснуться руки»? Сколько

блаженства в одном только этом... В конце концов, даже Богу для рождения сына понадобилась женщина во плоти... Может, вам с Сергеем нужна не я, а специальная помощь?

Мнимый Сергей печально усмехнулся.

– Нет, Ира. Ясновидение – не болезнь.

– Ты о чём?

Ночной гость рассказал ей о том, откуда у Симона в памяти разговор свекрови с бывшей его женой, пакеты с запиской, Людмилин роман с Димой.

– Сергей видит мной. Пока он в больнице в беспмятстве лежал, я выходил чаще. А потом он начал выздоравливать, мне стало труднее быть собой, приходилось ждать его сна. С тобой я познакомился так же... Забавно, когда он подумал про аварию, и все трамваи вдруг остановились.

Ира подняла брови.

– Это тоже ты сотворил?

– То-то, что нет. Совпадение. Но Сергей с тех пор уверился, что может управлять чем-то.

– Значит, не может?

– Нет. Только видит... Вижу. Но и это уйдёт, когда меня не станет.

Ира облегчённо вздохнула и улыбнулась:

– Слава Богу.

Разговор ушёл в сторону, не интересную фантому, и тот занервничал. Нужно скорее приступать к главному, не век же Сергей будет спать.

– Так ты будешь мне помогать? Хотя твоё согласие мне не нужно.

– А как же Сергей? – в свою очередь спросила Ира.

– Ты же знаешь, бывших алкоголиков не бывает. Однажды он снова запьёт и убьёт меня заодно с собой, понимаешь? Мне грозит смерть.

– В таком случае, я права: помощь прежде всего нужна ему, а не тебе и не нашим отношениям.

Призрак раздражился. Он уже не хотел терпеливо уговаривать, к тому же почувствовал слабость и испугался. Однако ему удалось совладать с собой (видно, Сергей вновь задремал). Фантом подсел ближе, взял Ирины пальцы в свою ладонь. Женщина откачнулась, но руки отнять не смогла.

– Слушай меня, – сказал пришелец неживым голосом, монотонными звуками, которым хотелось подчиниться, и посмотрел Ире не просто в глаза – куда-то внутрь черепа. – Слушай меня-а.

Ира не отрываясь смотрела на фантома. Её охватила спокойная радость, быстро, однако, истаявшая. Следом пришло ощущение чужеродности и ледяющего бездушия существа (или сущности), которое Бог знает на что способно, а пошевелиться, сбросить оцепенение невозможно.

Нависнув над Ирой, глядя ей в зрачки, призрак готовился произнести порцию заклинательных мантр. В этот момент в его сознание врезалось роковое крещендо, нарушая настрой призрака. Он зажмурился, схватился за голову и сполз на пол.

Простая и понятная правда ворочалась в его сознании.

В отличие от своего хозяина, призрак никогда не знал алкогольной тяги и потому не мог понять Сергеевой жажды жить. Женщина, которую, как казалось фантому, он любил, не хотела надмирной благоговейной любви, ведь это только часть настоящего чувства, а призрак не мог дать большего. «Как много у нас общего», – думал он, намереваясь встроиться в Ирину психику. Как мало совпадений видел теперь. Увы, его чувственный опыт не равнялся чувственному опыту человека, и с этим ничего нельзя поделать. Размыш-

ления вместе с нарастающей слабостью привели его в отчаяние. Фантом с искажённым мукой лицом рванулся к Ирине:

– Ты моя-а...

Выкрикнуть получилось лишь первый слог, остальное вышло беззвучно. Подобраться к женщине и в последний, может быть, спасительный раз заглянуть ей в глаза призрак не смог. Разорванный телефонным звонком, он пропал, истаял вместе с ужасом и оцепенением его жертвы. Ирина очнулась и не сразу поняла, что ей звонят.

– Ира, здравствуйте, это Сергей. Вы в порядке? Вам грозит опасность. Я у вашего дома, спуститесь, это важно.

– Да, да, я смотрю в окно, вижу вас. Только ничего не надо, Сергей. Со мной всё нормально. Спасибо, конечно, что беспокоитесь, но не стоит, право. И давайте обойдёмся без объяснений. Спокойной ночи.

Женщина рухнула на постель и заснула, не добравшись до подушки...

Она разлепила глаза, когда чахлый утренний свет с трудом проник сквозь плотные шторы.

«Какая сумбурная ночь. Страхи, звонки, кошмары», – подумала Ирина, подошла к окну и выглянула на улицу.

На покачивающейся и поскрипывающей качели дремал Симонов.

«Человек присидел под окнами всю ночь. Кажется, собирался поведать что-то важное, вроде бы про опасность. – Досадовала на себя Ира, надевая пальто и спускаясь. – Так это или нет, но он здесь ради меня. Стоит его хотя бы чаем напоить».

Когда она вышла из подъезда, Симонова во дворе уже не было.

12

Они не появлялись с неделю. Ни фантом, ни настоящий Сергей.

Ира гуляла по любимым городским местечкам, нет-нет, да и оглядывалась по сторонам, вечерами посматривала из-за шторы. Никого. Что ж, к лучшему, думала она. Слишком странно складывались их отношения. Решение расстаться было самым простым и, скорее всего, самым верным. И вот она снова принадлежит только себе...

После смерти матери Ирине мало что казалось драмой. Всё, что считают бедой для женщины, Иру беспокоило иначе.

«Сорок пять не за горами», «ни одной живой души рядом», «одинокая старость». Это отовсюду – из телевизора, из уст коллег и знакомых, родственников, друзей – звучало нарочито, а вместе с тем, равнодушно-расхоже, как слова плохой гадалки: «Ждёт тебя и печаль, и радость». Понимай, как хочешь: то ли у тебя одной всё это «не за горами», то ли как у всех и не более обычного.

Но если у тебя – как у всех, тогда неумолимость времени – разве трагедия?

Кем для неё мог бы стать Сергей, она себя, конечно, спрашивала, но раз ничего не вышло, стоит ли драматизировать... Встретив за сорок с лишним лет отпущенное судьбой число прохвостов и порядочных людей, увлѣкшись и разочаровавшись несколько раз, Ирина Демидова решила, что больше не станет просить судьбу, подгонять события и спешить с выводами.

Но всё-таки неуклюжий роман не прошёл бесследно, чего-то было искренне жаль. Чтоб не увязнуть в сожаленьях, женщина погрузилась в поиск работы и уже побывала на собеседованиях. Но одним нанимателям не приглянулась она, другие не устроили её. Ира купила свежую газету с объявлениями, пошла в центральный сквер и устроилась на скамье вблизи лужи, залепленной по окружности жёлтыми листьями.

«Дизайн женской и детской одежды. Курс обучения две недели», – прочла Демидова.

«Учиться, гм...по крайней мере ново. Поиск идей». Она позвонила по номеру из газеты, записалась на завтра, тронула гладь лужи носком ботильона и медленно, наслаждаясь днём, пошла вдоль аллеи.

Мобильник задрожал, задёргал сумочку.

– Да, – ответила Ирина.

– Это Сергей... Здравствуй.

– Здравствуй, – откликнулась Ира просветлённым голосом. Она и не подозревала, что обрадуется. События последнего времени должны бы насторожить, но интуиция подсказывала: что-то окончательно и бесповоротно изменилось к лучшему.

– Я тебя вижу, – сказал Сергей. – Сейчас подойду.

Она не знала, куда смотреть, озиралась по сторонам и, наконец, ухватила взглядом знакомую фигуру. Симонов перескочил дорогу не по правилам, оказался на мокрой, потому скользкой жухлой увядающей траве между деревьями, смешно балансируя, выбрался на брусчатку. Он озорно взглянул на Ирину. А та давно безотчётно улыбалась, с первой секунды, как издали заметила его.

Они пошли рядом, расспрашивая друг друга о том, кто как провёл ближайшие дни.

– Жила, как обычно, – сообщила Демидова. – С завтрашнего дня пойду на дизайнерские курсы.

– Что же роднит бухгалтерию и оформление одежды?

– В том-то и дело, что ничего! – весело воскликнула Ира.

– Понимаю: земной поиск самой себя, как говорит моя сумасшедшая дочь.

– Именно. А ты?

– Я ушёл из больницы. То есть, уволился, а не лежал. Но не рискну податься в кассиры или сапожники. В девятой поликлинике место обещали.

Ира и Сергей взошли на мост, отвернулись от города, стали смотреть на воду. Они не могли наговориться. Вспоминали, шутили, иногда легонько сталкивались плечами и чувствовали друг друга. Ирина смеялась, слушая Сергея и пытаясь понять, какой хочет жизни.

Может, этой самой, где есть далёкий сын, невообразимые курсы, Сергей – не таинственный сумеречный обожатель, а простой, понятный, из плоти и крови? Ирина как-то поняла, почувствовала, что он больше не раздвоится, но вот за себя ручаться не могла. Ей-то наверняка предстоит разрываться в решеньях не однажды. В её жизни как раз сейчас полно неясностей.

Сергей пустился в долгий рассказ про свою внутреннюю борьбу. Ирина слушала со вниманием, но отвлеклась на водяные блики, и в этот момент, в голову безо всякого напряжения памяти пришли слова: «Судьба не нить – полоса, причём вертикальная, и человек сам выбирает, по нижнему или верхнему обрезу идти». А потом ещё: «Превращения невидимого бесконечны. Дао – глубочайшие врата рождения... Небо и земля долговечны потому, что существуют не для себя... Совершенномудрый ста-

вит себя позади других, благодаря чему оказывается впереди».

Слушая и округляя глаза в тех местах, где Сергей описывал самые драматичные часы последний нескольких дней, Ирина почувствовала ясное, словно прорисованное кем-то на восковой дощечке начало мысли: «А может...»

Рассказы



ЧЕРСКИЙ

1

Черский был страшно богат.

Досказать бы: и счастлив, ведь вряд ли одно отрицает другое, но всё решает суть счастья. Когда оно – победы и власть, то купюры здесь – первое дело. С любовью и безмятежностью по-другому. Деньги для них не помощники, а обстоятельство без знака «плюс» или «минус».

Жизнь Черского складывалась хлопотно с самого начала, в известном любому дельцу порядке. Сначала долго и каторжно работаешь, чтобы сколотить капитал. Но этого мало, состояние нужно удержать, ведь деньги – золотые волки, не поддаются приручению и всегда готовы бежать. К тому же они должны расти, матереть, поэтому удерживать мало – надо дать им утекать так, чтобы они возвращались, и постоянно искать им пищу.

Голова дельца с утра до вечера занята мыслями о том, в какое производство вложить, какой дом купить, что построить на своём побережье и прочее, прочее, и дальше, дальше.

Жена от Черского ушла давно, в пору безденежья. Остальных женщин он не помнил. Помнил только, что они были. Бесспорно красивые, а главное, умели заставить его на время забыть о делах. Когда мысли о бизнесе возвращались, красавицы в тот же миг теряли свою привлекательность и загадку.

Загадка – вот, что влекло Черского. Но дамские тайны быстро разрешались, за ними почти всегда проглядывала несложная правда. Женщинам нравилось проводить время за его счёт, затем они хотели замуж и детей опять же за его счёт – вот и всё. Одна и та же разгадка, одно и то же разочарование, тупое, как игра с предсказуемым результатом, ему надоели.

Предпринимательство было для него чем-то вроде математических или шахматных головоломок, многоступенчатой комбинацией с тысячей острых ситуаций, где путей решения может быть несколько, и из каждого ответа вытекает новая задача. Расставшись с очередной земной богиней, он с тройным усердием брался за решение бизнес-ребусов, которое в качестве ответа предполагало приумножение капитала.

С годами получение прибыли отступило на вторые позиции, оказалось не единственной и, как ни странно, не главной целью.

Черский давно понял, что не все обстоятельства в этой игре он может предвидеть и поэтому в полной мере просчитать итог. Мелкие, порой досадные случайности усложняли без того непростое решение, делали задачу ещё более притягательной. Они как бы намекали: человеку не всё подвластно и с предательской частотой возникали так виртуозно просто, глупо, что делец готов был хлопать в ладоши и восклицать: «Браво, Господи!»

В мире ничто не случайно, если полагаться на логику Бога. Вот бы и ему, Черскому, стать этаким богом-предпринимателем. Но Господа не перехитришь и не напросишься к нему в заместители...

Можно ли жить иначе, Черский не думал. В мире наверняка есть что-то такое, что... не бизнес. Но разве это жизнь, когда нечего решать, распутывать, выстраивать и получать деньги?

Все удобства, что пришли к нему вместе с растущим состоянием, он воспринимал, как заработную плату. Ресторанами, виллами, яхтами он платил себе за решение задач. Но скоро эти радости принесли разочарования, тоже не печальные, Черский ведь понимал: в мире всё конечно, и быстрее всего заканчиваются наслаждения. Ни один ресторан не мог заинтересовать его съестными изысками. Ни один автомобиль не вёз так, как Черскому понравилось бы, ни один остров не окружил пейзажами, которые не обрыдли бы за неделю. Ни один стильный пуловер или пиджак не открывал Черскому его образа с неожиданной стороны, а лишь подтверждал то, что есть. О литературе, живописи, театре, музыке, спорте говорить нечего: всё это – рукотворный мир заведомо скуднее Божьего, считал он. Главное же разочарование состояло в том, что можно купить любую иллюзию ощущений и чувств.

Чтобы настолько пресытиться, надо прожить лет пятьсот или просто иметь много денег.

Интерес к гамбитам бизнеса в конце концов тоже притупился. Черский свалил все дела на своего фирменного юриста – многолетнего помощника и единомышленника. Сам облачился в джинсы, простецкие сандалии, пристрастился к пешим прогулкам и бездумному зеванию по сторонам.

Однажды в витрине ювелирного магазина он увидел бриллианты. То есть, и прежде их видел и мог купить весь магазин, если бы захотел, но до сих пор искристые побрякушки не встраивались в шкалу его ценностей.

Черский зашёл в салон. Продавцы не обратили внимания на зеваку в сандалиях – не видели в нём покупателя. Довольный, что никто не будет соваться к нему с предложениями лучших вещичек, он разглядывал бриллианты. Их радужный блеск походил на неразгаданную тайну несбыточной женщины и вместе с тем,

на отточенные филигранные повороты бизнеса. В сияние хотелось погрузиться и смотреть на мир изнутри камня. Оправа мешала. Алмазные грани под разным углом, как в калейдоскопе образующие выверенные рисунки, стискивались металлом и придавали поэзии геометрии вульгарность, приземляли до категорий «продукт», «товар».

Очарованный, делец нехотя покинул витрины и в два дня по связям нашёл нужного человека. На все свободные деньги – те, что не участвовали в обслуживании обширной деловой империи, – Черский купил горсть бриллиантов и высыпал дома на кухонный подоконник. Несколько – почти все – были прозрачные, голубые. Счастливый обладатель драгоценных камней видел, как живой луч света нещадно изламывается в гранях, лохматится на радужные полосы, теряет живительную суть, служа красоте камня.

В горсти бриллиантов особо выделялись два – о, эти два... Чёрные, мерцающие гранями – завораживающие, если в них долго смотреть. Продавец рассказал, что чёрные алмазы – редчайшие подарки земли, загадочные случайности, ведь никто до сих пор не понял, не вызнал, где и как они залегают. Никакие геологические приметы и закономерности не работают в поисках этих драгоценных осколков сердца планеты. Найти их можно только невзначай.

За эту информацию Черский прилично доплатил и теперь рассматривал камни один за другим, благоговейно перекатывая на ладони, поднося к свету. Так он провёл несколько часов, забыв о том, что существует. А когда вспомнил, то нашёл себя бодрым и радостным. Первое знакомство с камнями походило на необыкновенно действенную, живительную душевную терапию. Её хотелось повторять. Черский так и делал. Каждый вечер. И ночью, когда не спалось.

Постепенно любование бриллиантами стало сродни купанию в прозрачной балийской волне. Воображение погружало Черского в камень, будто в воду. Прозрачные грани колебались, расходились круговыми волнами, искрясь мириадами брызг.

Иногда Черскому казалось, что он внутри прозрачной хризантемы, пытается проникнуть в чашу лепестков, сосчитать их. Это было тоже приятно, а главное, невозможно – как раз по нему, никогда не искавшему лёгких путей, скорее рациональных.

Случалось, он не забирался в своих фантазиях так глубоко, просто рассматривал камешки под настольной лампой, может быть, как никто понимая андерсеновского Кая.

Черский забыл, какой думал купить дом, чем обустроить побережье и в какие заводы вложить капитал. Деньги спрессовались в банке, как торфяные брикеты, окаменели, ожидая решения, а оно не принималось. Хозяин денежных брикетов день за днём бесцельно слонялся по городу. Возвращаясь в сумерках домой, он подносил бриллиант к ночнику клювом пинцета, брал лупу и мысленно растворялся в комбинациях плоскостей и радугах.

2

Однажды, во время такого эстетического пиршества в дверь позвонили. Черский замер. Звонок повторился. Было странно, что сообщали о себе не в домофон. Консьерж тоже почему-то не известил его о гостях. Черский был в замешательстве. Звякнули ещё и ещё раз. Звонок будто казнил Черского, полосую по ушам резким звуком, а по душе – ножом. Надо было в секунду придумать, как спрятать бриллианты. Черский накрыл россыпь салфеткой.

На пороге стоял незнакомец – не сосед – и умолял позволить ему поговорить с Галей. Черский едва сумел вставить пару слов насчёт того, что юноша ошибся дверью. До взволнованного незнакомца дошло не сразу, он извинился и медленно повлачился вниз по лестнице, не вполне сознавая, куда ему теперь. Идея поинтересоваться у того же Черского, не живёт ли Галя на других этажах, несчастного не настигла.

Черский заперся и поспешил обратно к своим алмазам. Пока он говорил с незнакомцем, дверь всё время оставалась открытой. Обожаемые камни, пусть и под салфеткой, могли привлечь внимание непрошеного гостя.

«Почему расстроенный парень звонил именно сюда?» – внутренне холодея, спрашивал себя Черский. Тоненькая, но быстрая, отравленная страхом струйка подозрений всачивалась в мозг. В конце концов, в душе прочно обосновалась боязнь, что однажды он вернётся с прогулки, а бриллианты украдены. Замотав их в бархатный лоскут, Черский заметался с тряпичным комком по комнатам на обоих этажах, придумывая, куда спрятать.

Устройство тайника в полу или мебели, установка хитроумнейшего сейфа требуют присутствия в доме посторонних, которые Бог знает как могут воспользоваться ситуацией.

Ужас между тем рос, креп, вил из души верёвки. Черский решил везде носить бриллианты с собой. Некий тревожный покой на время дал передышку, но однажды, на бульваре делец услышал оклик: «Галя!» Голос показался знакомым. Черский обернулся: за ним цокала каблучками девушка, её догнал парень, напомнивший недавнего визитёра – ухажёра какой-то Гали, может быть, этой. Парочка шла позади несчастного богача. Следила за ним? И может быть,

уже давно? В душе опять склубился неприятный холодок.

После этого случая Черскому стало мерещиться, что он читает в глазах прохожих ненависть и всеобщий убийственный заговор.

Купить пистолет, думал он, значит дать кому-то зацепку для размышлений. Когда-то ведь и Черский решал ребусы конкурентов, даже более замысловатые, а тут – что отгадывать? Мужик покупает оружие, значит, дорожит жизнью. Почему? Есть, что терять. Так до камешков и додумаются.

Ходить с охраной – привлекать внимание, да и среди охранников разные бывают люди, мало, что ли, их послужило Черскому за годы.

Привыкшая, казалось бы, ко всяким напряжениям голова буквально распухала от воображаемых проблем и поиска решения, которого просто не было, ведь за каждым ответом выстраивалась цепочка новых страхов. Похоже, мозг не старался успокоить хозяина, а изоцрялся, выдумывая разные боязни, превращал маяту Черского в замкнутый круг.

Потянулись мытарства в поисках безопасного хранилища, но ни один банк не казался надёжным.

Черский возненавидел жизнь за то, что в проблемную тайну рано или поздно приходится кого-нибудь посвящать. Почти в каждом деле всегда следует допускать некоторую долю доверия потому уже, что никакие бумажные договоры не страхуют от чьей-нибудь необязательности или нечистоплотности в делах.

И у него появился адвокат. Не тот, кому Черский поручил свои заводы, дома и пляжи с отелями. Адвокат этот, Никита Витальевич, умел внушить доверие настолько, что клиент сходу попадал под гипноз уважения, просто жаждал выболтать всё сокровенное и попросить совета.

Никиту Витальевича ничей приход не мог бы вывести из самоуважительного, самоуверенного состояния духа, который обитал не только в породистом теле, а как бы и снаружи его – так и нёсся, так и лез в глаза и ощущения посетителя.

Кабинет был под стать владельцу – выдавал великое знание толка в жизни, понимание природы каждой вещи вокруг хозяина. Ничто в мире не случайно – так молчаливо сообщал офис и костюм, и самая фигура юриста.

Адвокат не спросил у странного клиента ни имени, ни документов. В глубоком, пристальном молчании выслушал, пообещав найти самое надёжное хранилище в самое короткое время. И действительно, позвонил через пару дней и пригласил полуобезумевшего владельца алмазов на беседу.

Речь пошла о некоем Романе, физике или химике, или всё вместе.

– Этот учёный, то есть, раньше учёный, а теперь умелец широкого профиля, просто волшебник, – после допустимого приветствия сообщил адвокат Черскому. – Он сможет устроить так, что ни один мошенник, вор, гений аналитики не догадается о существовании тайника. В общем, мастер на оригинальные штуки.

– А он не... – замялся Черский.

– О, нет, поверьте. Рома – любопытный экземпляр человеческой породы... Есть люди, абсолютно равнодушные ко всему материальному, – гении, кто с самого начала живёт словно бы не в брэнном мире. Для них земные радости, чины, слава равны невзгодам и потерям, то есть, плохое и хорошее, благо и лишение стоят в одном, отдалённом от любимого дела ряду, потому принимаются с одинаковым равнодушием. Вы с первой секунды всё поймёте, как только увидите нашего кудесника.

В прежние годы Роман успешно работал над созданием какого-то преобразователя, но исследования оказались не нужны стране, и были свёрнуты. Учёный заперся в квартире, продолжая уже не нужный государству научный поиск, выходил только за продуктами. В ближнем магазине покупал молоко, батон и банку бычков в томате. В гастрономах, даже самых маленьких, давно уже появилась масса новой прельщающей снеди, но химик упорно брал молоко с булкой и любимые консервы.

Если бы однажды бычков не привезли или они оказались не в томате, Роман, наверное, растерялся бы, беспомощно обводя близорукими глазами полки, словно ища, за что ухватиться и не упасть, или чтобы мир не рухнул. Потом купил бы другое и съел, сидя за книгой, даже не почувствовав нового вкуса. Но к счастью или сожалению, в современных магазинах всегда всё есть, и химик упорно покупал одно и то же.

Одевался Роман небрежно, но по нынешнему времени это ничего для окружающих не значило. Он выглядел спокойным и отстранённым. Его не могли бы вывести из себя ни отставшая подошва ботинка, ни потеря кошелька.

Но гений не был равнодушным человеком, скорее наоборот. Он не чурался страстей, бурных эмоций, вёл жизнь, наполненную драматизмом, наслаждениями, разочарованиями; ученый бывал нежным и романтичным, занудливым и дотошным. Эту пестрядь эмоций во всей полноте красоты или уродства, болезненности или торжества он испытывал во время научных экспериментов: химических реакций, физических процессов, которыми пересыщен научный поиск, означавший для него самую жизнь.

Когда стране его находки негодились, он не умер, но умер бы, если однажды у него отняли бы возмож-

ность заниматься научными изысканиями, например, посадили в сумасшедший дом. Равнодушные общества для некоторых его членов зачастую – большое благо. Так что Роман жил, творил и был счастлив.

3

Черский приехал к Роману. Пока он рассказывал о своей проблеме, лицо хозяина обшарпанной квартиры оставалось идиотски непроницаемым. Миллиардер засомневался, что имеет дело с нормальным человеком. У всех редких собеседников химика возникало такое ощущение.

Захотелось поразить этого непризнанного гения. Черский пошарил за пазухой, развернул перед Романом бархат, в котором носил алмазы, и сам невольно залюбовался ими: камни блестели тысячеклетными непорочными слезами.

Лицо учёного изменилось, в нём появилось некое изумление, интерес. Химик-физик пошарил в столе, вытащил лупу, штангенциркуль или что-то в этом роде, стал рассматривать и замерять один из камней.

Черский предполагал заметить алчный блеск в глазах Романа и даже увидел огонёк жадности, но совсем другого свойства, и досадно ему стало, что преклонения перед камнями учёный-чародей не разделяет. Впервые в жизни делец не чувствовал к этому человеку презрения, какое постоянно испытывал к людям, в том числе, к Никите Витальевичу. Черский частенько, фигурально и буквально выражаясь, разжимал кулак с деньгами, драгоценностями перед женщинами или солидными мужчинами и всегда видел в их глазах одно и то же – жажду обладания. Только у мужчин, как правило, сразу, а у неглупых женщин – не вдруг. Химик же смотрел как бы мимо алмаза, в свои мысли.

– Так что? Что? – вопрошал миллиардер. – Вы придумаете, как мне их сохранить?

– Угу, – безвкусно согласился умелец. – Пять миллионов это будет стоить.

Черского такса удивила. Подсознательно он почему-то надеялся, что платить не придётся. Впрочем, Бог с ними, с миллионами. Черского подмывало спросить, зачем столько, но вместо этого он сказал:

– Идёт.

Вытащил из кармана пачку банкнот и положил на стол. Химик-физик не притронулся к ним, встал, хотел, кажется, побыстрее проводить посетителя. Черский ушёл, размышляя о странном изобретателе, хотя, сказать по правде, мало чем отличался от него внешне. К тому же, оба были одержимы.

Роман не давал о себе знать целый месяц.

Зато Черскому звонил управляющий его немалым имуществом. Между прочими новостями Свирский узнал, что Никита Витальевич исчез. То ли на Кипр перебрался, то ли на благословенные Канары. Или ещё куда-то. «Жареным запахло», – подытожил управляющий. Черскому было очевидно другое.

Конечно, адвокат не на Кипре и не на Канарских островах. Люди, дающие сильным мира сего неоднозначные советы, не уезжают в одночасье на острова на пару недель. Черский понимал, что до конца своих дней не услышит о Никите Витальевиче и о том, что в некой стране на уединённой вилле, прежде битком набитой прислугой и домочадцами, а в роковой час напрочь опустевшей, нашли тело известного российского адвоката...

Но вот изобретатель позвонил и пригласил к себе.

Физик-химик с фотоаппаратом на шее встретил Черского в дверях и чуть ли не за рукав втащил в квар-

тиру. Роман подталкивал пришедшего, торопя пройти в комнату. Гость прощал гению бесцеремонность, ведь за этим следовало нечто, несущее, наконец, душевное равновесие.

– Кладите ваши камешки сюда, – приказал хозяин, одним махом сметя со стола какие-то бумаги.

Из узкого пространства между столом и стеной был вынут кусок плексигласа и водружен на столешницу. Бизнесмен разложил на нём алмазы так, как указал Рома: на небольшом расстоянии друг от друга, по кругу.

– Задёрните шторы, – скомандовал физик дельцу и навёл объектив фотоаппарата на богатство.

Учёный долго целился, примеривался, наконец, два раза щёлкнул. На плексе вместо алмазов Черский с ужасом увидел чёрные пластинки, похожие на карандашный грифель!

– О, Господи! Что вы наделали, – воскликнул делец.

– Не волнуйтесь. Это графит. У него тот же состав, что и у алмаза. Только теперь никто не позарится на ваше богатство.

До Черского стал доходить смысл случившегося.

Химик достал футляр из-под очков и аккуратно сложил в него графитовые пластинки.

– Чтобы вернуть камням прежний вид, хорошенько наведите объектив преобразователя и щёлкните два раза, – напутствовал он Черского.

Тот покосился на учёного.

– Вы дарите мне этот аппарат?

– Нет. Отдаю заказ. Он изготовлен на ваши миллионы. Старайтесь не трансформировать алмазы туда-обратно слишком часто.

Так и сказал: «миллионы», а не «деньги», пренебрежительно. «Что ж, имеет право», – думал Черский, принимая преобразователь.

Делец пожал учёному руку и спустился к машине. Пока ехал, думал: гений, конечно, «вещь в себе», но как быть уверенным в его молчании? Он не болтун, это видно, не станет рассказывать, чем занимается. Но вдруг из презрения к клиентам когда-нибудь кому-нибудь да и обмолвится.

Черский привычно похолодел.

Как же заставить умельца гарантированно молчать? Разве что...

Через несколько недель в газете делец наткнулся на некролог, из которого узнал, что химика звали Савельев Роман Сергеевич, что он был талантливым учёным, выступал на симпозиумах во всех частях света. На его разработках процветают пять самых продвинутых стран мира. Добрым словом вспоминают они русского Романа. Хоронить будут с приличной помпой.

Отныне о тайне не знал никто. Можно вздохнуть с облегчением и заняться, наконец, капиталом, но покой почему-то не наступал.

Черский то и дело доставал коробку, разглядывал графит, сомневался, паниковал. Не выдержал и снова «сфотографировал» графит. Всё случилось: алмазы приняли прежний вид. Богач задохнулся от восторга. То ли от волнения, то ли от тусклого света ночника бриллианты показались Черскому мутноватыми. Тот ревниво, пристрастно разглядывал под лупой каждую грань, каждое алмазное ребро. Но, слава Богу, всё оказалось нормально. Как всегда. Успокоившись, хозяин опять трансформировал заветное богатство в графит, сложил в коробочку и спрятал.

Так жил. Рад бы не смотреть на алмазы, но что-то беспокоило, и ревнивец снова и снова «оживлял» свои сокровища.

Однажды проснувшись среди ночи, Черский рывком сел на постели с мыслью, что у него в Бутово живёт мать.

«Когда ж я был у неё последний раз?» – припоминал делец, кладя в кейс коробочку с графитом и преобразователь.

По дороге он накопил в магазинах продуктов, на придорожном стихийном рыночке сторговал вязаные гольфы.

Старушка открыла дверь и вроде бы не удивилась, увидев сына на пороге. Он давно не звонил матери, и та ему тоже, однако его приезд её не обрадовал.

– Что-нибудь случилось? – спокойно, даже пресно спросила мать.

– Просто... Долго не виделись, – промямлил Черский. – Как ты?

– Как видишь, – безразлично ответила мать и шаркала в комнату.

Черский пошёл за ней, волоча пакеты с покупками тоже прямо в комнату, а не на кухню.

Мать опустилась в кресло и посмотрела на пакеты.

– Это тебе, – объяснил Черский.

– Потом, – коротко сказала она. – Рассказывай.

В этой короткой фразе была вся она – старая леди Черская, воспитавшая сына в одиночку, никогда ничего не просившая у окружающих ни для себя, ни для сына. Он много лет почти не звонил ей, да она и не требовала, не от чёрствости, не от того, что одинокая жизнь убила в ней способность любить, заботиться или хотя бы требовать этого к себе, а чтоб не навлечь на сына бед, не стать его уязвимым местом. Сейчас, когда он неожиданно оказался на пороге, она встревожилась, но постаралась не показать этого.

Глядя на мать, сын ощутил, как тяжело и долго болел своей корпорацией, капиталом. Именно болел, как всякий азартный игрок, ведь бизнес – игра, где можно всё потерять вместе с жизнью, но и выиграть баснословно много. Вначале этого пути он много раз проигрывал,

восстанавливался, поднимался, анализируя упущения, и пытаясь понять правила игры. Потом понял: чтобы побеждать, нужно играть по своим правилам. Он их выработал и менял, когда считал нужным.

Понимала ли это мать? Он не знал. Не знал, что для неё всё гораздо проще – она любила сына и ждала, принимая стремления, промахи и победы как часть его личности.

– Рассказывай, – повторила она, и Черский почувствовал себя школьником, вынужденным объяснять, за что получил двойку.

Отовсюду, чуть ли не теми же материнскими глазами на него смотрела старая мебель, фарфор и бронзовые подсвечники на подоконнике, которых он в детстве боялся.

Черский вздохнул и поведал, что считал нужным, не привирая, не смягчая ситуации, иначе старушка не поверила бы. Потом они пили чай с принесённой им вкуснятиной почти в молчании, изредка перебрасываясь ничего не значащими фразами. Перед уходом он попросил мать взять его фотоаппарат и коробку.

– Что мне с этим делать? – спросила она.

– Просто сохрани.

Мать велела ему оставить фотоаппарат в спальне на гвоздике от висевшей на нём когда-то картины, коробку с графитом сунула в первый ящик массивного векового стола.

– Прощай, – сказала мать. – Не уверена, что смогу хранить твои вещи десять лет, но сколько Бог отпустит, буду, ты меня знаешь.

Сын кивнул, подавив желание крепко обнять маму и покрыть поцелуями её почти облысевшую голову. Но тогда она бы точно растревожилась, потому что это походило бы на вечное прощание.

Вскоре после визита к матери Черского посадили в тюрьму. На десять лет. С конфискацией. Стараниями его доверенного управляющего. Черский точно не понял за что, хотя удивился, что к делу не привязали смерть химика. На заключительном заседании судья обстоятельно описывала вину подсудимого, тот не слушал. Его занимала, как ни странно, интуиция. Он всегда полагал, что предчувствия – бабьи выдумки. То есть, интуиция существует, но не как ясновидение – это он считал бредом недалёких женщин.

Интуиция, полагал он, вполне объяснимая вещь, оттачивается в человеке, когда тот становится асом в каком-нибудь деле. Мастер высокого полёта может заранее предугадать развитие событий в бизнесе, в лечении, если речь идёт о медицине, так везде, во всём.

«Но почему я вспомнил о матери именно тогда, когда надо мной нависла тюрьма? – Спрашивал он себя. – Я не мог этого ни знать, ни чувствовать – был с потрохами поглощён алмазами... Мама сказала: «десять лет хранить не обещаю»... Откуда она знала, почему сказала именно «десять лет»?»

Зрители, каких привлѣк суд над магнатом, расценивали его отстранѣнность по-своему, дескать, потерять богатство, загреметь в тюрьму – это любого в ступор загонит.

Черский меж тем наоборот, вроде как просыпался. Будто бы последнее время он спал, окружѣнный алмазной пылью, и вот его кто-то грубо растолкал...

Однако новая полоса жизни под стражей тоже – не явь. Предстояла долгая мучительная летаргия...

Черскому стукнуло сорок пять, когда он вышел из тюрьмы. На самолѣте его доставили в Москву, где все

обвинения были сняты. В зале судебных заседаний, куда освобожденец явился уже как пострадавшая сторона, на скамье подсудимых сидел его доверенный управляющий, тоже смотревший, как когда-то Черский, себе под ноги, осмысливая перемены. Оправданный ничего не чувствовал ни к подсудимому лично, ни к ситуации.

Дельцу вернули не всё состояние, которым он когда-то владел, но это много больше того, что осталось бы в лучшем случае при худшем адвокате... Он встретил это известие не так равнодушно, как свершившееся возмездие, – досадовал, что теперь опять нужно кому-то что-то поручать, продавать, сдавать в аренду, словом, заниматься устройством богатства. На сей раз он поручил дела юристу – даме, вызволившей его из тюрьмы.

Ещё в заключении Черский узнал о смерти матери. Похоронами, квартирой и другими делами занималась адвокат – спокойная ухоженная женщина, Лариса Аркадьевна. Её незадолго до своего ухода из жизни наняла мать. Дама-юрист после суда долго подробно отчитывалась перед подопечным, что сделано и что предстоит.

Поигрывая ключом от квартиры, Черский смотрел на адвокатессу и соображал, красивая она или нет. Неожиданно он прервал разговор, ничего не решив насчёт красоты, забыв поблагодарить спасительницу, отправился на кладбище.

Умиротворённый строгой кладбищенской тишиной, Черский рассматривал фотокарточку на памятнике. Он решил, что фотографии не передают живых человеческих черт, особенно паспортные – именно с такой карточки сделан мамин надгробный портрет. Человек выглядит на нём так, будто во время съёмки уже был покойником, только с открытыми глазами.

Черский размышлял, а с души постепенно спадало сонно-вялое безразличие. Становилось вроде бы легко, но вместе с тем, досадно, горько и ещё как-то, – он не знал, как назвать...

На обратном пути, подходя к воротам, делец увидел в стороне памятник важному для него человеку. Изда-лека, не зрением, а предчувствием он не прочёл – понял надпись на гранитной плите. То была могила Романа. Черский вспомнил алмазы, свою болезненную трусость и вздохнул.

На кладбище лежали два человека, мама и Роман, которых Черский знал и не знал – не понимал, как и всю когорту людей, кто любил, любит не деньги, живёт не для них, мерит жизнь не ими...

Мамина квартира встретила Черского насторожен-ным эхом от любого, даже кроткого движения, словно не доверяла пришельцу. Он обошёл комнаты, оки-нул рассеянным взглядом мебель, покрытую сизым слоем пыли. Ему стало жаль, что он почти ничего не знал о маминой жизни, юности, о том, что и кого она любила. Самый близкий, родной человек оказался немалой загадкой для него. В груди у Черского зажгло.

Он не поехал к себе в квартиру, остался на несколько дней в маминой – вспоминал проведённое здесь дет-ство. Черский пока не знал, вернётся ли в бизнес, и вообще не решил ещё, чем заняться. Хотел собраться с мыслями, но не получалось. Лариса Аркадьевна, Лора, как называли её сотрудники её же собствен-ной юридической конторы, то и дело отчитывалась лично и по телефону о сделках, договорах. Черский не хотел вдаваться в подробности, его устраивало всё, что она делает, но та с упорством отличницы рапор-товала о свершениях. Он наблюдал за её спокойными, скупыми движениями, слушал низкий голос, изучал брови, глаза.

А потом влюбился. Чувство навалилось, накатило на него и сжало не хуже тюрьмы. Но из тюрьмы он хотел выйти, а из плена любви – нет, разве что мёртвым.

Лора догадалась о его чувстве и была спокойна, а он жаждал удивлять её. В ресторан она с ним сходила, но на Мальту лететь отказалась и в Лиссабоне, как оказалось, отдыхала ещё до встречи с ним. Ему мучительно хотелось, чтобы она в нём нуждалась, но она ничего не просила, ни на что не сетовала. Он добивался её восхищения, изумления или хоть смущения. А ничего не было. И Черский возжелал обратно своё могущество, свои дома, побережья. Он готов был купить киноконцерн, сеть ювелирки, построить на морском дне виллу, лишь бы Лора посмотрела на него с интересом.

Ему стоило труда получить её согласие на свидание, а получив, он едва не стоял на голове, рад был, напялив ошейник, пристегнуть поводок к запястью любимой.

Отношения не складывались счастливо ни для Лоры, ни для Черского. Она терпела его, а он проклинал себя, хотел сбежать и не мог. Она перестала отчитываться перед ним о делах и планах, – он сам наезжал к ней в контору каждый день.

Однажды она сказала: «Я ухожу». Оборвала воображаемую собачью цепь, без которой он не мыслил жить. Он стал судорожно придумывать способ удержать Лору. Сходу отмёл предложение кругленького счёта, покупку острова и яхты – этим её не удержишь, а только ускоришь уход. Надо сотворить что-то такое... Черского осеанило. Он вспомнил про алмазы.

«Постой, я хочу тебе кое-что показать», – взволнованно выпалил Черский, быстро отыскал очённый футляр, высыпал на скатерть графит. Возлюбленная смотрела так, словно уже ушла. Несчастный богач сорвал со стены фотоаппарат-преобразователь и два раза щёлкнул. На столе во всём великолепии засвер-

кали прежние хозяева его души. Черский взглянул на милую, надеясь хоть на проблеск живого интереса. Женщина изобразила подобие улыбки, произнеся:

– Мило. Прощай.

И ушла. Он пригоршней сгрёб алмазы, хотел запустить в закрывшуюся дверь, но опомнился, развернул дрожащую ладонь. Камни помутнели, оплавившись и походили на мутные стёклышки. Но это не страшно, это слёзы глаза застыт...

Он бросил богатство на стол и, даже не подумав запереть дверь, пошёл за водкой. Месяц назад предпочёл бы хорошее вино, но теперь – водки. Пил, не торопясь, обстоятельно, как когда-то строил миллиардную империю, которую и сейчас, с оставшимися барышами ещё можно возродить. Пьянея, богач думал о странной игре судьбы: его «проходные» женщины были абсолютно чужими для него людьми, но он с первой минуты знал о них всё. А о любимых – маме и Лоре, – ничего не понял. Дамы, не падкие на богатство, оказалось, не такая уж редкость: один Черский любил двух. Маму он ещё как-то мог понять или хоть домыслить мотивы её жизни, но любимую... Чего Лора от него ждала? Почему он её об этом не спросил? Наверно, не успел. Маму тоже не успел. Может, Роман объяснил бы, но его не вернёшь. Никого из них не вернёшь...

Черский пил вприглядку на бриллианты. С каждым стаканом они казались всё более пошлыми, как женщины-собутыльницы. Тогда он полил их водкой, чтоб им тоже было пьяно, и заснул тут же, за столом.

Довольно поздним утром очухался и понял: водка не помогла и не помешала. Алмазы лежали на высохшей газете. Черский взял преобразователь и, не стараясь точно наводить объектив, ритмично, как автомат, нажимал и нажимал кнопку пуска. Графит превращался в бриллианты, те – в графит. К вечеру алмазы,

вместо того, чтобы в тысячный раз превратиться в графит, треснули. Камешки раскололись на кусочки, те рассыпались в крошку. Крошка – в пыль.

Тремя пальцами Черский взял щепоть алмазного песка, просыпал обратно на газету, оделся и вышел в ночной гудящий город. Непрерывный городской шум не проник в Черского, потому что вместо души у него образовалась чёрная дыра, убивающая свет и звук в самом начале, ни на волос не пропуская их в свою смертельную тишину и пустоту. Начисто опустошённый, будто мумия, он бродил по проспектам, забрёл в городской парк. Уличные шумы туда не проникали. На длинном пруду, обрамлённом парком, горбился пешеходный мостик.

Черский взошёл туда и стал смотреть вниз, перегнувшись через перила. Обзор с этой стороны застилала темень, потому что вокруг пруда густели старые развесистые ракиты, заслоняя фонари по берегам. Вода казалась абсолютно чёрной сродни душевной пустоте, завораживала, обезволивала. Черский не мог отвести взгляда от жидкой тьмы. Он вспомнил своё алмазное безумие, страхи, Романа, маму, разорение и тюрьму. «Господи, как я устал», – подумал он, с отчаянной, страшной отрадой осознавая, как легко можно заставить память замолчать. Глубина манила его, обещая долгожданный отдых и покой.

С другой стороны моста в волнах рябили неоновые огни. Извиваясь, в пруду купалось сияющее слово «Кристалл». Это вывеска кафе, а некогда так называлась корпорация Черского.

С трудом сбросив тенета сумасшедшей мысли, привязавшие его к темноте воды, он тяжело, словно деревянный, перебрёл на ту сторону моста, откуда читалось название кафе. Память вытолкнула на поверхность сознания прежнего Черского, молодого и решитель-

ного, кто с весёлой злостью лавировал в зыбях бизнеса, словно серфингист под гребнем волны. Он вспоминал свои виртуозные победы над конкурентами и, забывшись, усмеялся. Потом вернулся мыслью к алмазам. Когда-то Черский читал про их удивительное родство с графитом.

«Алмаз и графит – одно и то же – углерод. Они же и антиподы: алмаз – самое твёрдое на земле вещество, графит – самое мягкое, и так дальше во всём: во внешнем виде, прозрачности, цене. Разве не то же и люди? Одни тверды под ураганами жизни, другие изламываются от любого прикосновения. И есть преобразователь – судьба с её могучими обстоятельствами. Она постоянно пытается превратить алмаз характера в графит и наоборот. Что любопытно, не по одному разу. У судьбы для этого много превратностей. Тут тебе пируэты бизнеса, страхи и страсти, тюрьма, потери».

Ночь загустела, небо стало непроницаемым, таким, словно рассвет наступит только по окончании жизни. Но неоновые рекламы сияли, наивно провозглашая, что темень ничего не значит, и предлагая пёстрый выбор способов убийства времени. Темнота воды тоже предлагала, но способ, а не выбор. Может, вообще самая большая роскошь в жизни – выбор...

На столе в старой малогабаритной квартире, на пахнущей водкой, сжухшейся газете соляным конусом искрилась алмазная пыль.

МИЛЬКА

Наде

1

Она напоминает о себе, шевеля моё плечо тёплыми плисовыми губами.

Улыбаясь, выхожу из лабиринта воспоминаний. Реальность тут же заявляет о себе писклявым скулежом комаров. Пора домой. Мягко похлопываю любимицу по морде и всё ещё медлю.

Сколько мы сегодня проскакали? Да и прожили немало. Нынче Кармелита – степенная матрона, знающая себе цену, а когда-то была то Карма, то Карамелька. Имя молодой кобылке досталось длинное. Для дурашливого, брыкливого характера подошло бы что-то короткое.

Карму отринули, не роковая ведь цыганка. Карамелька – весело, но продолговато. Так что Милька. Милашка, милая. Кармелита пусть остаётся в паспорте.

Знала б ты, моя пегая животинка, что наша дружба обозначилась задолго до встречи, начавшись в смутном наследном прошлом, с прапрадедовой страсти к вороным, гнедым, каурым. Не обнаруживаясь ни в ком, по спиральям хромосом прадеда, бабки, матери она мельчайшей сцепкой-геномом пробралась в характер моей дочери.

Но не моя – другая девочка, с которой все в детском саду желали дружбы, увлекла малышей лошада-

ничеством. Ради её внимания ребятишки дёргали мам в магазинах игрушек возле пластмассовых скакунов со сказочными гривами. Арина, дочь, тоже. Но лишь у неё одной увлечение переродилось в кровный интерес к этим неземным животным, в мечту, отдушину, судьбу.

Нашу квартирку заполонили лошади: игрушки, поделки, рисунки, книги, фотографии и фильмы.

Мы горевали о Томпсоновском мустанге-иноходце, радовались за мультяшного Чёрного Красавца, строили из кубиков денники пластмассовым Ветерку и Ласточке. С попустительства папы Лёши тратили деньги на катанья в городском конном дворе. Конюшни с выездковым плацем (проще говоря, загоном) прилегали к центральному парку невдали от нашей девятиэтажки. Аринину одержимость заметили, позвали девочку учиться верховой езде. Ей тогда не исполнилось шести – маловато для сомнений и впору для безоглядной радости. Поговорив с мужем, на следующий же день я повела малышку на первое занятие.

Ещё не было всеобщего круженья листвы, тяжело-весности неба с пронзительным солнцем, но утренний неуют уже слегка отдавал грустью Вивальди.

Взявшись за руки, мы вприпрыжку неслись по метёным, чуть прихваченным золотцей аллеям, манившим к киоскам со сладостями, аттракционам, но ни карусели, ни мороженое не могли сбить Арину с пути.

Конный двор щедро окружил нас густыми запахами, нечеловеческим теплом, незнакомой суетой. Седлали как раз Мильку. Так и встретились. Никаких предчувствий судьбинной важности не явилось, – такое осознаешь позже, за ворохом событий, прокручивая память назад. А тогда мечта была самая немудрёная: поладить с животным, научиться понимать, да просто почувствовать иное божье создание.

Из денников смотрели лошади. Мы неуклюже навязывали им ласки: гладили по носам, глупо сюсюкали и умилялись каждому их порыву.

Возле нас выросла невзрачная личность с бесформенной фамилией.

– Приходько. Ваш тренер-инструктор.

Всё. Будто говорить сверх того неучтиво.

Здесь работали и другие. Например, Наталья Павловна, тоже тренер. Если бесцветность Приходько не рождала интереса, то и о Наталье Павловне спрашивать почти нечего, но как раз потому, что с нею всё ясно. Она ходила в крагах, шлеме, а не в круглой шапочке по глаза. Частенько, по крайней мере, в дни наших занятий, к ней прибегали два мальчика, её копии. Она чмокала сыновей, подсчитывая, чтоб поцелуев доставалось поровну.

Дополняло их с Приходько разницу отношение окружающих. Для Натальи у мужчин всегда находилась безобидная шутка, а у женщин совет и забота. С Приходько все были равно почтительны. Никто вольностей себе не позволял.

2

Милька – помесь тяжеловоза с кем-то, обладала слабым ходом и слыла строптивой кобыленцией, чей дурной характер объяснялся как угодно: межсезоньем с беспокойной линькой, жарким летом, холодной зимой, слишком суровыми прежними владельцами и мягковатыми нынешними. На опасные козни лошадь не отваживалась – сбивала с толку, пугала неопытных наездников лёгким вредительством.

При крепости статей её узковатая морда смотрелась изящной и всегда что-нибудь выказывала. По взглядам, движенью ноздрей, ушей окружающие понимали

или всего лишь худо-бедно истолковывали коняшкин настрой. По ним же и по неизбежному своему превосходству люди верно или ошибочно наделили животинку не лучшими душевными качествами.

К серьёзным победам на ней не готовили, давали начальные уроки и катали желающих. Инструкторы хвалили её мягкую рысь, которой и на которой легко обучать детей (правда, те охотней выбирали более покладистых лошадок).

Глянув на восторженно онемевшую и уже влюблённую Арину, Милька раздула ноздри воронками, глянула надменным глазом поверх, однако позволила малышке сесть верхом.

Ученье пошло в гору. Лошадь, казалось, слушается полукосновенья. Новоявленная спортсменка прилежно выполняла посадку, посыл, повороты. Я изумлялась скорым успехам. Отношение к тренировкам наставника оставалось загадкой, в лице, интонациях ничего не прочитывалось.

Держа спину, раздумываясь, наездница поглядывала на меня серьёзными глазами, из которых едва не солнечными зайчиками брызгало неумело скрытое счастье. Приятная лёгкость уроков умиротворяла, баюкала. Полагаясь на покорную партнёршу, девочка могла раз-другой зевнуть в сторону.

Такую-то прохладцу и караулила каверзная напарница: пляснула боком, попятилась и рванула галопом.

– Натягивай повод! – нёсся вдогонку напрасный крик Приходько.

Всадница выпала под переднее копыто. Милька сдала назад, замялась, словно опомнилась, перескочив ребёнка, порысила к конюшне.

Дочь брела ко мне, вытирая рукавом измазанное личико. Она плакала не от боли – от обманутых чувств.

Бедняжка успела поверить, что животное из всех детей предпочло дружить именно с ней.

Лошадь же, для виду подчиняясь ременным узам, не давала крепнуть чуть наметившимся тенетам ребячьей воли. Как опытный разведчик, она по-своему изучала новичка, поняла слабинку, подыграла и показала норов.

3

С того случая Арина заробела. Не говорила о страхе прямо, но перед занятиями то оживлялась, то стихала, словно запираясь изнутри.

– Интересно, какое настроение у Мильки? – загодя беспокоилась она.

– Останемся дома?

– Нет, пойдём, пойдём, – упрашивала дочь.

Мы шли в конюшню.

По дороге малышка смотрела перед собой, сводила, разнимала бровки. Видно, пыталась, собрать душевные силёнки на очередную встречу с коварной любимицей. Не выходило. Рывок головой, внезапная остановка, ускоренный ход лошади заставляли девочку бросать поводья. Занятия беднели достижениями и, наконец, опустели, словно ноябрьское дерево.

Облокотившись на изгородь, я следила за понурой троицей. Вдоль плаца шагала Милька, ведомая тренером. В седле качающимся вопросиком грустила дочь.

Обрывочно долетавший разговор был, в общем, понятен: при всех трудностях безопасней поводья натягивать, а не бросать. Девочка понимала, но не находила сил выполнить.

Пегашка продолжала чудить. Случалось, хлыст готовился покарать её за выкрутасы. Тут несчастная ученица словно пробуждалась от безнадёги, предостерегающе вскидывалась.

– Не надо, пожалуйста, – скорым речитативом просила она, одолевая страх, пыталась править, выполнять урочное.

Но лёгонькая испуганная малышка наездницей, по-милькиному, не считалась. Своенравная лошадка вольно прохаживалась, таская на спине невеликое бремя. Арина сидела, опустив руки.

Закончилась осень. Оправдывая календарь, снег выпал первого декабря и вопреки примете остался лежать.

Мы всё ещё ходили на верховую езду, не чая подвижек. Можно б заниматься на Гриньке, Малыше, но девочка боялась и тех. Впрочем, они почти всегда бывали заняты. Ей как всегда доставался злой гений Милька.

День, когда дочь взяла поводья, всё ж наступил. Правда, держала она ременное правило еле-еле, так что лошадь всё равно не чувствовала человеческой воли. Нехотя повинувшись толчкам ребячьих ступней, кобылка двинулась по большому овалу – тропе, бетонно вкопченной в плац (снег не успевал скрывать её, за день наезжали снова). Устала шалунья или не скумекала ещё новой каверзы, но шла смиренно. Упражнений незадачливой паре не дали: пусть наездница пока на шагу робость одолевает.

Не имея сиюминутного дела, наставники (Приходько и Наталья Павловна) стали около меня. Затеялась беседа о страхах. Из-за дочкиных неудач тема саднила, я увлеклась, отстранившись от того, что вижу. Но даже сознавая картину, по неведению я не смогла бы оценить её верно. А происходило такое.

Милька с Ариной на холке вдруг пошла малыми кругами-вольтами и, тихо ступая, нюхала снег. Двое моих собеседников секундой оказались возле них и выдернули всадницу из стремян. Пегашка опустилась

на колени и стала заваливаться. Рухнув, Милька блаженно потёрлась боком о снег (седло мешало перекинуться через хребет).

Девочка не успела испугаться, но с верховой ездой надо было решать.

4

Чтоб притупилась острота переживаний и, быть может, чтоб осознать безнадежность тренировок, решили прерваться недели на две. Но конный двор нас не потерял. Мы ходили в любое выкроенное время. Арина не ездила верхом и не выказывала охоты к тому, зато помогала чистить, седлать, прогуливать лошадей.

Взявшись за прутья ограды, она смотрела, как её любимица каталась в снегу, вскидывая задние ноги, фыркала – смешно, ребячливо выражала удовольствие. Взмётывая пламя гривы, она носилась по узкой леваде и вышвыривала пропечатанные подковами комья снега.

Порой мы забежали всего на минуту, с угощением.

Милька, строптивица, чем только не покупали мы твоё благоволение! С рук кормили морковкой, яблоками, печеньем. Ласково ворковали, вздымая ладони в желании погладить, обнять. Ты принимала подарки с высокомерным равнодушием, отдёргивалась, не желая прикосновений...

– Послал отец одного из мальчиков к роднику принести поскорее воды, – дочитав сказку до середины, я отложила книгу и посмотрела на дочь.

Ввернувшись в одеяло, как ручейник в узкий подводный домик, Арина слушала бесшумно. Взгляд её колебался, как напитанный паром воздух, становился отстранённым. Не со мной, не в книжной истории, но где он блуждал? Может, уже в сновиденьях?

Девочка почувствовала мой взгляд.

– Хоть бы её не били за плохую работу. Не может же лошадь быть виноватее человека, – произнесла она, поворачиваясь на бок.

Арина не хотела дальше говорить или не могла. Поцеловав её в висок, я выключила свет.

После новогодних каникул город накрыли морозы, вслед за ними – гриппозная зараза. Школы, кружки и секции позакрывали. Наш «отпуск» затянулся.

5

Ещё знобкие дули ветры и мело, но весна близилась: воздух уже звенел. Арина запросилась к коням не просто, а ездить.

Наша злодейка оказалась занята. Дочери вывели Малыша, но не то что выполнить «восьмёрку», просто проехать метров пять не получилось. Невесомая девчушка вздрагивала всем телом, стараясь вложить в тиски ногами (шенкелями) больше силы. Издёргалась, взмокла, а конёк ни с места. Переминался, как двоечник у доски, весело косясь на людей поблизости.

– Хорош, – брошенное инструктором камень-сло-вечко со смыслом «хватит» прервало, наконец, тщетные усилия.

У ограды слепился хмурый круг: наставник, я, усталая Арина подвела Малыша. Все пока молчали, следя за пируэтами сухой былинки в пальцах Приходько. Погодя прибавилось Милькино трио, отработавшее не лучше.

Злокозненная кобылка лягалась, пятилась в угол, не хотела выходить. Избоявшийся мальчуган – её сегодняшний наездник – канючил:

– Наталья Павловна, я в четверг на Малыше буду, ладно?

– Посмотрим, – уклончиво отвечала та. – Ты должен уметь управлять разными характерами.

Милька потянулась к Ариной шапочке, жевнула помпон, будто напомнила о знакомстве.

– Попробуешь? – заметив порыв животного, оба инструктора хором окликнули девочку.

Та вместо ответа флажком взметнулась в стремени и...

До сих пор не понимаю, как она отважилась. Как момент решимости ускользнул от моего внимания? Казалось, вижу страх, сжитость с неуспехом, глупую ребяческую поспешность, а значит, и грядущее разочарование. Вышло иначе.

Малышка быстро выбрала поводья, тиснула бока лошади. Та тронулась в шаг, потом в рысь, пошла, пошла. Да как.

Я впервые увидела воспетую в степных песнях красоту, не освятившую (увы) моё детство, ту, что являют, но обездушивают спортивные телеканалы и в которую отчасти позволяет вчувствоваться лишь великая литература: красоту взаимослитости лошади и всадника.

Когда они поняли друг друга так, словно Бог создал их единым выдохом?

Ровной, музыкально размеренной рыси, вторила, привставая в стремях, верно уловившая ритм фигурка. Арина сидела прямо, словно выключившийся росток, на всю спину, и в то же время вольно, опустив плечи, едва заметно повелевая партнёршей.

Я оглянулась на тренера и увидела выпяченную губу, приподнятые брови, – так нескорые на оценку, ко всему привыкшие люди выражают удивление.

Всадница подгарцевала ближе, не улыбаясь, но лучась спокойным торжеством. Только костяшки пальцев белели. Потом я часто видела зеленоватую белизну её суставов. И накусанные губы.

С того дня не то чтобы ученье наладилось – оно отлаживалось, только уже через приложение воли. Кобылка по обыкновению упрячилась, капризничала, но Арина не сдавалась. По правде говоря, их с Милькой соперничество (кто кого укротит) устраивало всех, особенно детей: им не доставалась баламутная лошадка. Падежня, протёртые в лохмотья перчатки, сжатые челюсти отныне входили в понятие каждодневной радости.

6

Одно дело, когда любимые рядом, и ты уверен: так будет всегда. Это тонкое, экономное счастье, потому что ему предстоит целая жизнь.

Совсем иными глазами смотришь на дорогое существо, когда знаешь, что ему вот-вот гибель. Сгущённая в малом времени привязанность обостряется, растёт и ранит сильнее с каждым днём.

Ах, Милька, смогла б я прикипеть к тебе так же сильно, как дочь, если б не это?

Телефонный сигнал влез в семейную тишину позднего вечера, когда Арина уже спала. И к лучшему.

В трубке заворчался сипловатый голос тренера:

– Здорово. Ходит слушок, – тут вклинилась пауза, словно новость немного пожевали. – Нашу Мильку планируют в расход. Ветеринар сказал, ноги. Месяца два – и каюк, свезут на мясокомбинат.

В кухню вошёл Лёша с полотенцем на голове.

– Что случилось? – спросил, подсаживаясь на диван. Я рассказала.

Муж примолк, потом хлопнул ладонями по коленям.

– Так... Арине ни слова. Надо встретиться с владельцем коней и выкупить осуждённую на казнь. Не думаю, что сдать на мясо выгодней, чем продать. Куда нам её

потом деть – вот загвоздка. А у меня всего четыре дня, – сказал он, взглянул на часы. – Уже три.

Лёша – сельхозавиатор, то есть, лётчик для полей. Он редко бывает дома, разве лишь зимой. А шёл август, и редчайшие выходные удачно выдались как раз нынче. Потом пропадёт ещё на месяц и так до холодов. Куда только не посылали его зелёный Ан-2 опылять, опрыскивать полезными ядами будущую еду, перевозить по небу ещё что-то нужное.

Наутро в конный двор двинулись втроём.

Оставив Арину в конюшне, первым делом разыскали Приходько, рассказали, с чем явились.

– Пойдём вместе, – следовало постановление. – Семён Семёныч захочет слущить больше плаченого, а я не дам.

– Анекдотическое имя. Что он за человек? – спросила я.

О владельце двора узнали немного.

Когда-то, в свою тренерскую бытность, Семён отомстил опрокинувшему его скакуну: загнал насмерть. Виновника уволили, но и только. Ныне в одноэтажных кварталах города он держит пивные киоски и эту лошадную забаву.

В низкой, с огромными окнами конторе – дирекции парка – нас встретил мужичок на «ват»: лысоват, молодцеват, хитроват. С беглым взглядом. Дело понял с полуслова, пригласил в кабинет.

В безнадёжно пустой комнате (видно, временка, штаб-квартира в другом месте) он уселся в кресло (поёрзал, отыскивая удобство) за старомодный канцелярский стол. Плавником больнично чистой ладони указал на стулья вдоль стен. Мы притянули сиденья к столу, тренер – напротив начальства.

Хозяй потёр руки. Глаз неуловимо изменился, стал ввёртливым, как шуруп, и началось. Потянулись дипло-

матические беседы, обернувшиеся вскоре торгашескими препирательствами. Обсуждали не только покупку, но и возможность подержать лошадку на дворике пока не найдём ей место. За постой ломилось что-то несутветное. Душа томилась несказанно. Удерживало только желание спасти животинку. Удобных для гордыни сумм не водилось, и мы нажимали на своё. Впрочем, не я с Лёшей.

Широко опершись на стол, Семён и Приходько (от лица всей нашей компании), нависнув над полированным полем брани, выдавали друг другу обоюдострые угрозы. В конце концов, по ценам сошлись. Покупку отложили.

– Ну, до встречи через две недели? – Уточнил муж. – Я к тому времени привезу недостающую сумму.

– Бог с вами. Но о постое ещё поговорим.

Коммерсант бросил на стол ручку, записав телефонные номера, и чуть съехал со стула. Хмуро оглядывавший округлость своего живота, он походил на пацана-задиру, получившего по шее.

На улице, несмотря на зной, было свежее, чем в помещении.

– Спасибо, – сказали мы тренеру, полагая итог окончательным и удачным.

– Не обольщайтесь, – был ответ.

7

Лёша уехал, вернее, улетел. На сей раз недалеко, в соседнюю область. В нашу с ним сотовую болтовню неожиданно, уже через день вклинился Семён.

– Не успели обговорить постой вашей лошади.

– Она ещё ваша. Через две недели, – напомнила я.

Холёный хват думал иначе. Витийствовал, правда, недолго, без желания терять покупателей. А чего хотел?..

Внедолге явился в эфире вновь. На сей раз из-за коваля, вызванного для осмотра лошадей на предмет перековки, заявив, что распорядился не осматривать Мильку и не перековывать. Разве что на мои деньги. Вот так номер!

– Послушайте, вы сейчас на ней зарабатываете, а не мы. – Напомнила я.

В трубке отвечали толкованиями, коих понять не дано.

Так и повелось. Каждый раз выходило, будто я хозяйина уговариваю, а тот, поломавшись, уступает. Ещё загадочней было то, что он моего лётчика тоже звонками донимал. Чего ждал? Побольше денег? Отказа от затеи? Развлекался, теребя нервы?

И у мужа они сдали.

– Держать лошадь, значит, жить её жизнью, – однажды заявил он мне издалека. – Ариша – не помощница, ещё лет семь одна будешь ходить за Милькой, но ничего, – слышишь? – ничего не сможешь написать. Потом возьмёшься, и не пойдёт. Так нужно ли было становиться писателем?

Я не ответила. Ни Лёшке, ни Семёну. Никто из них не желал понять моё положение. Хотя, какое оно? Можно отказаться от покупки, увести ребёнка к тётке, а животное пусть сдают куда хотят. Дочке потом солгу.

Такие думки не прежде сумерек трусливо просверкивали среди замыслов и решений. Но на следующий день к Арине из денника тянула узкую морду наша проказница. Стоило видеть обеих, чтоб послать к известной бабушке ночные сомнения.

8

Очередным звонком Семён вызвал меня в контору.

Подле него каменела фигура Приходько. На сей раз владелец пива и коней выражался предельно, не блуждая в словесных норах.

– Забирайте сегодня или завтра же на колбасу. И с постоем решайте. У меня мест нет.

«Ишь, – подумалось. – Как в советских гостиницах».

– Если хотите, советуйтесь.

Он вышел, притворив дверь, и показался уже за окном снаружи. Щёлкнул зажигалкой, которую не поднёс к сигарете, а едва не всем телом наклонился к руке.

– Чего он торопится? – вполголоса спросила я.

– Кто знает. Может, налоговая гроза движется, откуп срочно надобен. Теперь не уступит.

– Всей суммы-то нет. Лёша ещё...

Хотелось сказать «не привёз», но привезёт ли.

Помощь негаданно явилась от инструктора:

– У меня есть семь.

Я воскресла. Мы с Приходько ударили по рукам и заверили Семёна, что вернёмся через час.

Пересчитав деньги при нас, с удовольствием откинувшись в кресле, делец великодушно объявил:

– Забрать не позднее четверга. Приходько, ваше заявление я подписал.

В ответ тренерские ладони в самопожатию тряхнулись над извечной круглой шапочкой.

На улице я набрала Лёшин номер, рассказала о покупке.

– Похоже, в нашей однокомнатной моё место заняла лошадь, – съязвил он и умолк. Пусть. После. Сейчас надо решать с Милькиным обиталищем.

Теперь Арина каталась, сколько хотела, понимая одно: родители покупают для неё лошадку. Девчушка радовалась, мечтала, напрочь забыв, что скоро идёт в первый класс.

У Приходько телефон крепко повис на ухе, послушно, но безнадежно откликаясь на поиски коняшкиного крова. Я-то могла просить лишь одного человека: Валерию.

Тётка-тётушка, не седьмая вода на киселе, худая длиннотелая старушка с робко-плаксивым, а точней, очень разумным нравом.

Живёт в пригороде, растерявшем сельскость. В прошлом деревня, сейчас хвост города-техночудища носит имя со старорусским привкусом: Повой. У Валерии там домишко с садиком в три яблони и небольшим сарайкой.

Каждое лето она звала Арину гостить, отлично зная, что та три месяца не выдержит. Всё в Повое хорошо: парк, пруд в нём, лесок даже. Но Валерия девочку никуда одну не пускала – боялась и с ней не гуляла. Слушая бесконечный, как песня камчадала, причёт тётки-бабушки, малышка слонялась по выскобленному, как дощаной стол, и прилизанному, как причёска очкарика, поместьицу. Соскучившуюся девочку приходилось забирать спустя пару выходных. Старушка оплакивала одиночество, но суетливо отказывалась от любых идей на этот счёт, застенчиво улыбаясь, по-детски вытирая щёки кулачками.

Наперёд зная итог, я, однако, позвонила с чаением пристроить лошадь хоть на недельку, а там... Не знаю.

– Ленушка, што? – спросила Валерия заранее нараппев, чтоб удобней отжаловаться.

Я вкратце обсказала, слыша в трубке нарастающий стон.

– Миленька моя-а, на что ж вы, безумные, денежки-то потратили. А я её куда-а? В курятник ли?

– В сад, тётъ Лер, только на неделю, пока сухо. Ничего делать с ней не надо, разве поить.

– Ноженьки мои не ходють, руки так крутить, так крутить – сна нет.

– Так может, нам пожить у вас? – предложила я, признаться, с большей охотой, чем прежде.

– Ой, девоньки, милые, зачем вам старуха. С кобылой возись, со мной вози-ись...

В трубке зафыркало, затрещало. Бог с ним, говорить уж не о чем.

Я поспрашивала соседей, нет ли у кого родственников в деревнях. Такие нашлись, но коневодческого интереса не выказали.

Оставалась надежда на завтрашнюю встречу Приходько с ипподромной властелиншей. Если запросит недорого, то лошадку можно б устроить.

Сутра по сотовым каналам прилетели сразу две вести: ипподром не берёт, Семён выгоняет сегодня. Прямо сейчас.

Мы с Ариной понесли в конюшню. Инструкторы наряжали Мильку в недоуздок, крючковали копыта.

– Куда теперь? – спросила Наталья, прощаясь.

– К тётке сведём. Без позволения. Упросим, умолим на месте – что ей останется делать? – ответила я.

– С богом.

В окне конторы, как в аквариуме, покачивался, закарманив руки, Семён.

10

Двинулись в путь. Приходько с Милькой впереди, я и дочка следом. Асфальт отзывчиво цокал чуток после подков. Прохожие растерянно озирали странную компанию. Проезжие, выстлав локти на дверцы, сигналили нам и что-то улыбочиво выкликали, будто чайки, может, шутили.

Девочка уставала. Мы то сажали её верхом (без седла несподручно), то вели за руку. Миновали город. Стало легче: машин меньше, обочья шире, есть, где сойти на отдых. До Повоя километра четыре.

Потряхивая надставленными бортами, перед нами заехал грузовик и остановился. Из кабины выпры-

гнул... Лёша, Лёшенька, друг мой вечный. Вот кого не хватало!

Дочь повисла на нём. Тот обнял, крепко прижал и несколько раз сунулся губами ей в макушку. Потом принялся открывать кузов.

– Давайте грузить вашу скотинку, – сказал, вытаскивая сбитые поперечинами доски, устраивая наклонный помост.

Коняшка забеспокоилась, напрягла шейные жилы, дёрнулась, натянув недоуздок.

– Ш-ш-ш. Тише, голубка.

Тренерово ободрение, кажется, слегка успокоило животное. Взойдя на доски вровень с головой Мильки, что-то бормоча ей в ухо, поглаживая, Приходько и сама лошадка, заминаясь, малыми шажками довольно долго шли вверх. По кузову животинка затопала бодрей, дала себя привязать.

Лёша вдвинул за ней мостки. Пока длилась погрузка, он поведал:

– Дмитрий, фермер, у которого пылю, как раз жеребца продал, денник пустует. Когда я про наше сокровище рассказал, Дима машину дал. Что, Арина, поедешь смотреть Милькино жильё?

– Да, папочка, да! – обрадовалась та и мелко запрыгала.

– Пусть погостит. Зато у тебя будет время школьное приданое закупить, а я Аришку через день привезу, – сказал муж мне напоследок.

Они нырнули в кабину грузовика, юрко развернулись и укатили.

Мы с наставником переглянулись. Внутри будто пружина распрямилась, дала вздохнуть. С Приходько спала то ли маска, то ли стальные латы. Мы обнялись за плечи и поплелись в сторону города.

– Надь, что ты нашей брыкушке на ухо-то шептала? – спросила я, шурясь на ярко-белые облака.

– Ласковое слово и скотина понимает, – лукаво ответила Приходько, сняла и подбросила шапку, растряхнув короткое белобрысое каре.

Глядя вдаль, она вдруг затянула низким сипловатым сопрано:

– Ой, при лужку, при-и луне-е,

При широком по-о-оле.

Я подхватила:

– При знако-о-омом табуне-е

Конь гулял на во-оле.

Снова что-то весело кричали и сигналили водители, да нам нужды не было. Август на исходе, небо благостно сияет, живая душа спасена, потому сейчас, здесь важней всего одно: чтоб «конь гулял на во-оле».

Надя рассказала мне, как сложилось имя нашей спасёнки.

11

Прошло одиннадцать лет. Быстро? Медленно?

Говорят, худое тянется медленно, хорошее – в лёт. Неправы люди. Всё шло своим чередом. Ни скоро, ни долго. Не знаю, назвать ли плохое плохим, ведь наши удачи вырастали из бед.

Валерия померла год назад, завещав клочок Повоя моей дочке.

У Надежды Приходько образовался свой маленький конный двор. Она как прежде учит ребятню началам верховой езды. С ней работает Наталья Павловна, помогает Арина, но только в свободное время – учится в академии, пытается стать ветеринаром. И всё бы как в сказке, когда под конец нечего желать, только частенько вижу дочь грустной.

– Не могу лягушек препарировать. Мне их жаль, – однажды призналась она, вернувшись с занятий.

Понимаю, если не переборет боль сердца, не причерствеет к страданиям братьев наших неразумных, то и спасительницей не станет. Придётся бросать врачеванье иль переходить на полеводство.

Муж по-прежнему в полях. Конюшню он построил вместе с домом для нас.

А я? Давно ничего не пишу. С тех пор, как появилась Милька, осваивать пришлось многое. Я была трудной ученицей, досель неведомое постигала тяжко. Дочь вникала в тонкости коневодства легче и мне на первых порах растолковывала.

Прав Лёша: держать лошадь, значит, жить её жизнью. Ковать, прививать, кормить, следить за ногами, мышцами, подгонять, чинить снаряжение. Так изо дня в день много лет, всегда. Первые трудности не сделали меня сильнее. Наоборот, по мере того, как я узнавала, чего бояться, малейшие предвестья беды приводили в отчаяние. Постепенно, понемногу, потом, когда опыт защитной корой покрыл сосуды впечатлительной души, научилась одолевать несчастья без суеты и дрожи.

Слушаю кобылье сопенье и подумываю написать повесть, что-то в унисон с Сетоном-Томпсоном, над чьими рассказами мы с Ариной когда-то рыдали. Думаю так и усмехаюсь, чувствуя мягкий толчок в спину. Пора.

Что ж, Милька, пойдём домой.

ЛЕТО, КАПЕЛЬНИЦА, ЛЮБОВЬ

«Не люблю этот город. Живу здесь с десяток лет, а не могу, не получается считать его своим», – думаю я в минуты ностальгии. Неприбранный, запущенный, некогда красивый, он стоит посреди России, не зная, зачем. Но иногда здесь происходит нечто, и я прощаю городу его несовершенство и прошу у Бога всяческого благоволения к его жителям.

1

В его мире есть звуки, запахи, очертания, движение, но нет слов. Он не знает, что все и всё на свете наименовано, а его самого разве только Рыжиком и можно назвать.

Он родился ярко-жёлтым, почти оранжевым, с более тёмными – цвета мёда – полосками на голове, боках и хвосте. Такой это жизнеутверждающий окрас, что кажется, его обладатель – неунывающее, беспшашное существо.

Бездомные коты вправду умнее домашних – образнее, можно сказать. Они оптимисты, для них жизнь всегда важнее обстоятельств.

Детство рыжего было обычное, уличное, с неуютом, тревогами и неизбывным желанием поесть. Как у всех, кого малыш так или иначе знал через мать. Она потом куда-то делась. Или, может, он делся. Потерял дорогу, или его потеряли. Но к тому времени он уже знал, куда нужно идти за едой.

Голодный котёнок сидел под козырьком у двери бюро ритуальных услуг на улице Ливенской. Струи дождя под навес особо не добрызгивали, но зверёк без того был мокрым и грязным. Рыжий терпеливо молчал. Не умел мяукать. Вернее, умел, но догадывался, что это бесполезно делать сейчас. На него никто не смотрел, его никто не жалел. Некому. Рано. Но своеобразным внутренним пониманием времени, какое, вероятно, есть у всех бездомных городских животных, маленький зверь понимал: скоро начнут подходить люди. Он чувствовал дождь, холод, но не ощущал собственного несчастья – верил, что его обязательно покормят. Потому и ждал.

Вскоре над ним склонился, потом присел громадный незнакомец. Один его туфель мог бы стать просторным кораблём для котёнка. Рыжий на всякий случай приоткрыл маленькую пасть, вроде бы мяукнул, но звука не вышло.

Мужчина этот – директор ритуального агентства – молодой, ухоженный, благосердечный человек. Считается, что работа в таком месте накладывает грустный отпечаток на внешность и характер, но тут налицо был явно обратный случай. Гробы и венки не только не опреснили вкуса к жизни, но Вениамин Сергеевич даже коллег подобрал себе под стать. Все молодые, задорные, кроме уборщицы Антонины. Но и та, хоть молчалива, отнюдь не госпожа печального образа, лихо водила «Матиз» и носила старомодную клокастую горжетку из меха непонятного животного.

Директором скорбной конторы был учреждён порядок: он по пятницам приходил на работу раньше всех. Сегодня как раз была пятница. Вениамин отпер гулкую металлическую дверь, придержал её и сказал рыжему:

– Заходи.

Тот вошёл. Через несколько минут в холле появились ещё люди.

– Ой, котик. Какой хорошенький, – умилилась бухгалтерша Маргарита, женщина под сорок с ультрамодной стрижкой и умопомрачительной талией.

– Наш сотрудник будет. Рыжик, – объявил Вениамин.

Водитель Гриша дал мальцу колбасы. Тоненькие клычки отважно вонзились в розовую мякоть пахучего кругляша.

– Вы что, ему пока нельзя колбасу! – воскликнула припоздавшая молодая особа Натуся.

Она, конечно, не мама кошка, но, видно, всех женщин – настоящих и будущих мам – объединяет стремление опекать малых да слабых. Рыжик до сих пор не чувствовал себя таким, но в окружении высоких, больших существ решил, что покровитель ему не помешает, и выбрал Натусю.

Незаметно, в общей суете вокруг нежданного постояльца, появился лоток с наполнителем, миска сначала с молоком, потом специальным кормом и плошка с водой. А ещё Рыжика помыли – вот это была пытка. Но пришлось терпеть, потому что жить ему, похоже, предстояло здесь. И он остался, хоть сразу решил: если не понравится – убежит.

В первый день новый жилец пустился осматривать офис. Ему следовало пометить территорию, и он, наверное, так и делал.

Уборщица шумно ввалилась в контору и нашла всё общество в приятном возбуждении, а вскоре обнаружила и следы пребывания нового сотрудника – лужицу. Антонина скривила губы, нервно поправив горжетку. С тех пор, если находила лужу пусть даже под только что политыми цветами, недовольно взглядывала на малыша и грозила пальцем.

Рыжик понял: неласковая дама его не полюбит, и сам стал её сторониться. Мало-помалу освоил лоток.

Котёнок облюбывал себе постоянное место на громоздком компьютере старого образца у кладовщицы – той девушки, которая напоминала ему мать. Он вспрыгивал на монитор, свешивал голову, следя за курсором и пытаясь его ловить, или просто дремал. Натуся, на минутку отрываясь от работы, указательным пальцем щекотала Рыжику шею и умильно посмеивалась.

Пришло время, когда Рыжик захотел уйти из конторы. Случилось это не весной – осенью. Молодой кот внезапно почувствовал, что если не выйдет на улицу, то умрёт, наверное. Зов, внутренний, тревожный, неодолимо манил его прочь от человеческого жилья. Зверёк вдруг сделал открытие: все, кто о нём заботится, не коты, не родные ему по духу. Он просидел у входной двери всю короткую душную ночь. Наутро, как только Антонина появилась на пороге, Рыжик опрометью кинулся наружу, едва разбирая дорогу.

– Вот и беги туда, откуда пришёл. Обратного пуцу, – сдержанно злорадствуя, произнесла вдогонку жрица чистоты и привычно загремела ведром, устанавливая его под струю воды.

Каждый входящий сослуживец первым делом замечал, что кота нет.

– Удрал он. Мимо меня пронёсся, как ошпаренный, – сообщала уборщица всем и каждому. – А что вы хотели? Кот-то уличный, вот и сбежал. Теперь обратно не ждите. Сколько волка не корми, он всё в лес смотрит.

– Ребята, слушайте, – прервав Тоню, воскликнула Натуся, уставясь в монитор. – Я в Интернете сейчас нашла: у нашего котика свадебная пора, она с семи месяцев может начинаться, а не именно весной. Он вернётся, вот увидите. Вы, Антонина Михайловна, не спешите с выводами.

Все успокоились и стали ждать любимца.

А он лежал, почти бездыханный, под забором одного дома в частных застройках недалеко от склада. Как очнулся, отполз в кусты. Мало-помалу пришёл в себя и медленно, подолгу отдыхая, повлачился к своим. Его, с развороченной верхней челюстью, полуживого, подобрал Гриша. Вениамин тут же отрядил водителя с Натусей везти страдальца в лечебницу.

Через время, когда лечение закончилось, и кота привезли домой, то есть, в ритуальное бюро, друзья-конторщики встречали его торжественно и осторожно. Все поочерёдно брали Рыжика на руки, давая ему понять, что любят, будут отныне беречь и защищать. Зверёк терпел. Когда его, наконец, отпустили, он сразу отправился на склад, спокойно вспрыгнул на привычное место – компьютер – и проспал до конца рабочего дня. Ночью, подвластный всесильному инстинкту, кот снова обходил свои владения, помечал территорию, которую, он считал, должен охранять.

Утром у окон конторы вжикнул, тормозя, «Матиз». Уборщица вошла и тут же сморщилась, будто откусила кислоты. Взяла Рыжика за загривок и с ненавистью прошипела ему в глаза.

– Берегись, пачкун несчастный!

2

Прошло время. Кот выздоровел, стал грациозен и ловок, как прежде. Только мордочка его навсегда осталась слегка повернутой на бок. Рыжик всё так же подолгу обретался на складе, в епархии Натуси, отчего отгрузка скорбных товаров обретала иной раз утешительный оттенок. Несут, к примеру, Гриша с грузчиком Павлушей – кротким алкоголиком – на погрузку гроб, а на крышке или внутри сидит Рыжик, не выпрыги-

вает, едет так до самой машины и покидает налёженное место, когда домовину начинают громоздить в кузов.

Вениамин Сергеевич не поощрял такого баловства, ведь товар клиент должен получить в самом лучшем, первозданном, как говорится, виде, а кошачья шерсть на атласной обивке вредит репутации фирмы. Натуся и Гриша оберегали Рыжика от неудовольствия начальника – перед отправкой смахивали ворсинки с траурного атласа одежной щёткой. Жалоб от заказчиков пока не поступало. Но в Интернете то и дело появлялись фотографии кота в гробу, что немало забавляло смешливую Маргариту, да и Вениамина тоже, хотя тот старался блюсти себя, как серьёзного бизнесмена. Чьи это шалости никто не доискивался, хотя могли быть чьи угодно: Гриши с Натусей, Маргаритины или даже самого Вени. Только двое не пошли бы на такие проделки: Павлуша и Антонина, каждый по своей причине.

Однажды Рыжик опять пропал. Никто не сомневался, что его позвала природа. Уборщица снова рассказывала, будто кот молнией просверкнул мимо неё, летя в придорожную посадку навстречу свободе и любви.

Все ждали и тревожились: каким он вернётся на этот раз? Натуся переживала больше остальных. Директор распорядился пройтись по окрестностям, поспрашивать жителей, а лучше расклеить объявления с портретом любимца и телефоном бюро. У Рыжика примечательная внешность – его обязательно вспомнят и позвонят.

Канторщики так и поступили: распечатали, развешили, опросили и стали ждать откликов. Их не было. Натуся совсем скисла. Гриша отгружал продукцию без привычного молодого задора и грустно поглядывал на кладовище...

С трудом высвободившись из полотняной торбы, Рыжик стремился покинуть незнакомый лес, где совер-

шенно не пахло съестным, но ему еды и не хотелось. Не до того. Сосняк – чуждая среда для городского животного, в чём-то враждебная даже, но не ужаснее полотняной торбы. В ней Рыжику было действительно страшно, ведь он не знал, что его ждёт, и не мог от предстоящего убежать. Зато сейчас он свободен, и к неизбывному чувству опасности подмешивалась едва ли не более сильная потребность вернуться в знакомое обиталище. Гонимый настойчивым стремлением к внезапно, беспричинно утраченному дому, кот рысил по лесной дороге в сторону города. Среди хвойных, прелых природных ароматов витала смесь резинового запаха с нефтяными испарениями и с каждым метром становилась всё отчётливее. Значит, считал кот, путь выбран правильно.

Вскоре скиталец выскочил на опушку возле дачного массива. Несколько дней он блуждал среди домиков и садов. Дачники подкармливали рыжего, полагая, что он – питомец кого-нибудь из соседей. Собаки хрипло лаяли, но не догоняли. Их задача стеречь хозяйство, а приبلудный кот – мимолётное развлечение.

Зверёк выбрался за пределы дачного посёлка к шоссе и помчался вдоль него посадками. Ближе к городу на трассе стало шумнее, запахи – едче, ощущение опасности явственнее, может, поэтому кот бежал и бежал, не чувствуя усталости. Иногда его вспугивали резкие крики автомобильных гудков, но со временем острота боязни притупилась. Каждую минуту рядом присутствовал страх; кот бежал вдоль него, существовал как бы параллельно ему. Они друг другу не мешали, но худо было бы пересечься.

В истеричной суете автотрассы казалось, что время, как и автомобили, проносится безумно быстро, стараясь поскорее истечь. Вовлечённые в эту иллюзию, люди спешили ещё больше, ещё дальше, надеясь успеть

зачем-то и куда-то, пока время не остановилось. Пассажиры и водители думали, что мчатся по прямой, а получался замкнутый круг.

В городе Рыжик странствовал уже по дворам. Там было не так шумно, не мчались осатанело машины, время благосклонно позволяло каждому жить в своём ритме. По ночам, в дождливые дни кот искал убежища в подвалах высоток, бывал изгнан тамошними котами, сам изгонял непрошенных ночёвщиков. Когда ему удавалось заснуть в каком-нибудь укромке, отдых был тревожен и краток.

В одном из дворов, возле серой, как поздняя осень, девятиэтажки скитальца приманила старушка, выложив из пакета на подъездное крыльцо куриные косточки. Она подождала, пока кот насытится, взяла его на руки и понесла в дом. Бродяга не сопротивлялся – не чуял опасности, понимал: этот человек не способен причинить вред. В квартире Рыжик неспешно обследовал пустоватую, неуютную комнатёнку, запрыгнул на диван и, дважды прокружившись на облюбованном местечке, улёгся. Бабушка присела рядом и принялась гладить найдёныша жёсткой, слегка подрагивающей рукой.

Кот спал, быть может, впервые за последние недели не чувствуя угрозы извне. Но во сне он по-прежнему бежал. Сначала будто бы к чему-то или кому-то знакомому, но потом оказалось, что он удирает от собак, Антонины, слепо шарящих перед собой автомобильных фар. В конце концов, всё смешалось и разлетелось.

Рыжик проснулся, пошёл в кухню. К комку фарша на газетном клочке не притронулся, прыгнул на подоконник, форточку и – на улицу.

– Куда? Васька, куда!? – окликнула его старая женщина.

А Рыжик-Васька отправился исследовать новую для себя территорию. Оказалось, что она ещё чья-то и, вероятно, не одного кота. Значит, придётся драться. Новичок принял эту данность спокойно, можно сказать, равнодушно. Ещё он обнаружил, что в округе, в двух-трёх местах стоят миски со съестным. К бабушке можно не возвращаться. Но он вернулся. Через форточку, которую хозяйка не закрывала, ожидая его.

– Здорово, гулёна! – радостно приветствовала она. – Входи, входи, супчика тебе налью.

Рыжик подошёл к тарелочке, понюхал, поплакал. Потом он снова спал на ребристом, как изработавшаяся лошадь, диване, и старческая ладонь опять гладила его по спине.

Так повелось. Кот уходил на сутки и больше, но возвращался. Бабушка всегда ждала с супом или косточкой. Старая женщина уже считала его своим питомцем и была уверена, что «Васька» того же понятия. Не из всегдашнего человеческого шовинизма, а по вполне извинительной причине. Одиночество – не простая штука; спасаясь от него, человек готов прикипеть к любой живой душе. Вот только не верит одинокий соплеменникам, потому выбирает братьев меньших. Их корысть не обижает человека, он рад служить животным и думает, что они также.

А Рыжик всего лишь пользовался непрошенными теплом, защитой, пищей. Он не делал выбора – выбор просто пал на зверька, ничего не спрашивая, никаких плат не требуя, оставалось только принять дары судьбы.

Однажды Рыжик услышал девичий голос! Такой знакомый, что кот заметался возле автомобиля, куда впрыгнула милая щебетунья. Машина уехала и увезла голос, а Рыжик уже не думал о старушке – он снова стремился домой.

Кот трусил мимо высоток, через детские площадки с одетыми в разноцветные курточки малышами, лопотавшими ему вслед: «Кися-а», как угорелый, перебегал дорожные полотна улиц, где чудовищно быстро промелькивали «ниссаны» и «лексусы». Может быть, в этом смертоносном потоке раз-другой проскочила Гришина «Газель», или какой-нибудь из автомобилей провёз мимо Натусю, Маргариту, Вениамина. Но как в бешеной спешке разглядеть друг друга? Как в лабиринтах улиц, где зачастую есть только пара секунд для спасения, разобраться, в какую сторону тебе надо, где единственно верный путь?

Худо-бедно Рыжик добрался до улицы Покровской. Тут было относительно тихо. Кот примостился и со временем привык спать на огромных тёплых трубах или под ними, если дул сильный ветер, бесилась пурга. Из окна туристической фирмы за ним наблюдали женщины, а вскоре стали приносить ему еду. Было, что две из них в мороз выскочили налегке, крича и размахивая сумками, – отгоняли свору бродячих псов от своего рыжего знакомца. И тот не спешил уходить. Может, пережидал зиму, а может, снова стал забывать родную контору.

Прошло ещё время. Рыжик вполне освоился на Покровской, сам в привычный час подходил к дверям турагенства за угощением. А потом, как раз когда он направлялся к своим благотельницам, завизжали тормоза, раздался надсадный женский крик, и белый свет погас. Кот не видел, как окна ближних домов тотчас заполнились встревоженными лицами, а к нему, скользя и спотыкаясь, кто-то бежал...

Удар был такой силы, что живое существо оценить его не может. Боль гасит сознание. Сон и явь становятся единым бредом. Зелёная трава, снег, кошка-мать, старушка, Натуся и гробы сменяются вдруг белой стеной,

чьими-то холодными, будто безжизненными пальцами с иглой. Она входит в тело, но это почти не чувствуется, потому что изнутри и снаружи весь ты состоишь из сплошной всепоглощающей боли. Игла с трубочкой, торчащая из лапы, саднит, её хочется полизать, но нет сил. Неужели это она причиняет мучение, которое везде, в каждом вдохе?..

Не всегда и не всякий шум проникал в сознание Рыжика. Когда это всё же случалось, болящий едва разлеплял наполовину затянутые белой плёнкой глаза и смежал снова. Все его чувства и ощущения слились в единственное желание – покоя, потому что любое движение причиняло страдание и давалось невероятным трудом. Всё надоело, всё неумоготу. Жизнь ли то, что сейчас происходит? Если жизнь, то пусть закончится, лишь бы не трогали, лишь бы не чувствовать боли...

3

«Помогите коту!» – так начиналось объявление, напечатанное на жёлтой бумаге. Я огляделась. На столбе, стене дома, витрине магазина – такие же лимонные листки. Человек, чей телефон был написан вдоль бахромой нарезанного края объявления, просил денег на лечение бездомного кота, которого неподалёку сбил автомобиль.

Сначала я прошла мимо, но цвет листков просто лез в глаза со всех сторон. «А если кот умрёт потому, что на лечение не хватило как раз моих денег? Вдруг я буду единственной, кто поможет несчастному животному?» – Подумалось мне, и я набрала указанный номер. Ответила женщина. Ольга – так она представилась.

Выяснилось, что на перекрёстке, который я каждый день перехожу, недавно сбит рыжий бездомный кот.

Единственная причина его спасти у Ольги и её сослуживиц была только та, что он жил близ их туристического офиса, спал на трубах теплотрассы и ел то, что приносили служащие. Они же отвезли полумёртвого зверька в клинику. Длительное лечение, операции требовали денег. Так появилось объявление.

Ветеринарная лечебница, как оказалось, расположена невдалеке от студии танца, где занимается моя дочь. Так что, провожая Анютку, я навещу кота.

– В регистратуре заведён специальный конверт, – проинструктировала меня Ольга. – Вы можете оставить любую сумму и обязательно впишите в список свою фамилию.

Дома я всё рассказала Аняте. Мы отправились на танцы пораньше, чтобы перед тем проведать страдальца.

– Можно нам увидеть рыжего кота? – спросила я в регистратуре.

Полноватая молодница кликнула второй девушке, которая тут же в холле продавала корм для животных:

– Наш Рыжик пользуется популярностью.

– Значит, мы не первые его навещаем? – Спросила Аня.

– Едва ли не тридцать первые, – улыбнулась опрятная, в крахмальном халате молодуха и протянула нам конверт с надписью «Для Рыжика».

В нём лежали купюры разного достоинства и сложенный вчетверо список участников спасения. В нём действительно значилось не меньше тридцати фамилий. Я положила деньги, но записываться на бумажку не стала. Аня купила в киоске коробочку паштета.

Нас проводили в просторную комнату, где вдоль стены, в три яруса размещались небольшие клетки – «палаты интенсивной терапии» – окрестили мы их. В них лежали и сидели послеоперационные живот-

ные. Внизу – собаки, над ними два яруса занимали кошки.

В этой комнате уже была посетительница – та самая Оля. Она показала нам Рыжика.

Тот, ради кого мы пришли, лежал в центральной клетке, над отсеком поскуливающей дворняги с удивительно проникновенными глазами. Кот не шевелился, ни на что не реагировал. Казалось, спал. Нас поразила его страшная худоба. Аня украдкой показала мне на Рыжикову, слегка свёрнутую набок мордочку. Мы сочли это увечьем от аварии.

– Паштет не открывайте. Больному сейчас не до еды, – предупредила Ольга. – Вот немножко подлечится, – и покормите.

Мы стали два раза в неделю приходить в ветклинику. Неизменно покупали вкусенького. Рыжик не ел – был слишком слаб.

На нижнем «этаже», под боксом нашего мученика сидела или спала собака. Как её звали – не помню. Иногда к ней приходили девушка и парень, брали на прогулку. А мы с Анной чистили освободившиеся на время перевязок или прогулок четвероногих пациентов отсеки, раздавали корм животным, кому позволялось: котёнку Чипу или ласковой непоседе Маркизе – кошке-подростку, которая всё время норовила вылезти из клетки. Когда её гладили, она заваливалась на спинку, переворачивалась, подставляя ласкам бока и живот. Неизвестно, что у неё болело, рубцов на её тушке мы не заметили.

Однажды мы никого, кроме Рыжика, в «общей палате» не нашли.

– Где все? – спросила дочь.

– Забрали, – ответила ассистентка хирурга. – Собаку взяли к себе девушка и парень. Они-то и привезли к нам эту псинку с пробитой головой три недели назад, тоже подобрали где-то на дороге.

– А Чип? А Маркиза?

– Их тоже «усыновили». Маркизу взял наш молодой доктор. Вчера рассказывал, та что только не вытворяет у них в квартире. Жена в ужасе, зато ребятишки счастливы. Прямо цирк на дому.

В тот вечер Рыжик впервые полизал принесённое нами угощение.

Наступили летние каникулы. Мы с Аней уехали на море по путёвке, купленной ещё до происшествия с котом. Я звонила оттуда Ольге. Та коротко сообщала об очередном курсе лечения Рыжика – капельницах и уколах. Дочь ходила мрачная, жалела, что не дома. На морские и горные прогулки Анютка соглашалась лишь бы убить время, загорать на пляже не хотела вовсе. Отдых превратился в ожидание возвращения.

В то лето Краснодарская трасса ремонтировалась сразу на нескольких участках, так что вместо девятнадцати, автобус вёз нас домой двадцать шесть часов. Телефон разрядился, но это почти не расстроило, потому что прилагалось ко всем остальным тягостям. Умотанные жарой и дорогой, мы желали только одного: доехать.

На следующее после возвращения утро мы поспешили в лечебницу.

– Котика забрали, – сказали нам. – Вы Ольге позвоните, он у неё.

– Рыжик не у меня, а у своих законных хозяев, – был ответ.

– Ничего себе, как же они нашлись?

– Гм... Счастливый случай, – ответила наша знакомая и рассказала удивительную историю.

Рыжика после выписки она взяла к себе, к своим двум котам. Желая найти для спасенца заботливых хозяев, разместила его фотографию на городском сайте «Кот и пёс». Через недолгое время позвонил мужчина, пред-

ставился директором ритуального бюро, чем немало озадачил.

– Не пугайтесь, – поспешил объясниться Вениамин Сергеевич. – Дело в том, что мои коллеги увидели на сайте фото рыжего кота. Мы узнали его по особенностям мордочки. В юности он попал под ногу какого-то негодяя. Это наш Рыжик, понимаете? Если вы не против, я сейчас же пришлю за ним водителя.

– Не против, только я тоже поеду. Хочу посмотреть, где будет жить Рыжик.

– Без проблем, – согласился Вениамин.

И точно: минут через двадцать у окон Ольгиного дома поигнала «Газель». Женщина вынесла Рыжика. Ей навстречу из кабины выпрыгнула Натуся и защебетала:

– Здравствуйте. Спасибо, что вы нашли наше солнышко.

– Знали бы, что ему пришлось пережить, – строго сказала Ольга. – Что же вы не следили за питомцем?

Пока ехали на улицу Ливенскую, Ольга рассказала, что перенёс Рыжик. Натуся в свою очередь поведала, как он пропал, и как директор с водителем после тщетных поисков по окрестностям провели в конторе настоящее расследование – прокрутили записи с офисной видеокамеры. Хотели посмотреть, в каком направлении сбегал Рыжик, а увидели, как уборщица запикивает в «Матиз» брыкающийся мешок.

Конторщики устроили даме в горжетке форменный допрос. Та призналась, что невзлюбила кота с первых дней. Дескать, попробуйте следить за чистотой и порядком, если в каждом углу то и дело появляются кошачьи лужи. Сначала Антонина надеялась, что Рыжик не вернётся после брачного побега, затем, что не выживет, но в итоге сама увезла его в лесок за дачным посёлком. Её уволили.

Любимца пробовали искать в местах, куда его справадила уборщица. Ездили по дачному посёлку, спрашивали, не приютил ли кто. Рыжика видели, кормили, и даже не очень-то давно. Но куда он делся, никто не знал. Конторщики утешались, что, по крайней мере, кот жив. Однако следы затерялись. Оставалось просматривать сайт с животными.

4

Ольга передала Рыжика Натусе. Едва та внесла его в контору, Маргарита, Вениамин, новая уборщица Люба, даже Павлуша заплодировали, но Гриша замахал на них и зашикал: испугаете, мол, дёрнется, а ему пока нельзя, ему ещё восстанавливаться надо. Ольга предупредила, что кот не сможет далеко ходить, только в пределах помещения. Рыжика отпустили с рук и замерли, ожидая, что тот предпримет.

Кот медленно пошёл по конторе, словно припоминал прежнее жилище. Обнюхал лоток, подошёл к мискам. К воде не притронулся, зато пожевал кусочки корма, купленного Маргаритой по случаю возвращения друга. Потом прыгнул на стул Натуси и – на компьютер.

– Узнал, узнал! – восторженно прошептала девушка в сцепленные замком руки, потом обернулась ко всем и твёрдо произнесла. – Он будет жить у меня.

– У нас, – вкрадчиво поправил её Гриша.

– Да, у нас, – повторила за ним кладовщица. – Мы с Гришей сегодня заявление в ЗАГС подали.

– Ура! – вполголоса прогудели Маргарита с Любой в честь будущих супругов.

Вениамин нашёл карту города, показал Ольге лес, куда был завезён Рыжик, а та – злосчастный перекрёсток. По ним люди установили, какой путь преодолел их любимец. Им хотелось думать, что кот всё время

настойчиво пробирался к родной конторе. Может, это правда...

На прощание Ольга протянула Вениамину листок бумаги с фамилиями и сказала:

– Вы должны знать, нашего Рыжика спасали десятки людей.

Так закончились странствия рыжего кота. Я поблагодарила Ольгу и хотела уже отключить трубку, но женщина меня задержала.

– Оставшиеся после терапии деньги я передала в фонд лечения бездомных животных. И ещё одно. Помните котёнка Чипа? Он умер тогда в клинике. Почки не выдержали. Дочери не говорите.

– Не скажу, – обещала я.

Конец августа. Стоял тёплый, тишайший вечер. Мы с дочкой лежали дома на ковре и фантазировали, что если бы стали миллионерами или даже просто зажиточными людьми, непременно открыли бы приют для животных. Не только для котов – для всех.

Наутро я шла на работу привычной дорогой и опять увидела объявления на жёлтой бумаге: «Друзья! Огромное спасибо всем, кто спасал рыжего кота. Он здоров и передан в руки любящих хозяев».

Лето в наших краях не сдаётся безропотно осени, так что солнце светило и грело всюю. Воздух, трава, каждый листочек на каждом дереве, казалось, лучились неким особенным светом, который часто ощущаешь в детстве, когда тебя любят родители и кажется, что никакие невзгоды никогда не омрачат твой мир.

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ КОЩЕЯ БЕССМЕРТНОГО

Вечные невесты. Незавидная доля. Кто они? Чьи дочери?

Пленницы – вот им прозвание, одно на всех. Украдены каждая в своё время из дому, от матушки, батюшки, бедняжки заставили себя забыть прошлое. А может, помнят. Может, ночью или когда Кощей улетает, собираются в одной комнате, сидят в обнимку, рассказывают о прошлой жизни, о детстве...

Здесь, в плену, они друг другу сёстрами, матерями-дочерьми назвались. А иной семьи им не выпало. Они считались когда-то невестами, каждая в своё время, но всё проходит, любовь хозяина тоже, хоть ищет он её века.

1

Кощей бессмертен, так что его существование жизнью не назовёшь. Она есть у того, кому умирать, а бессмертие – разве жизнь? М-да-а... Смерть Кощею не госпожа, а вот со временем ему приходится считаться.

В детстве его, наверное, Иваном звали или ещё как-то. Последние лет триста Кошеем величали, а нынче просто: граф. За бессмертие он устал от имён.

Пока юн был – всё любил. С годами возненавидел, презрел, а теперь безразличен ко всему. С возрастом отощал бедняга, высох, будто пустынное дерево. Люди сказали бы, от злобы, да не так это вовсе. Разве не вкушал он в молодости с удовольствием терпкое вино,

тёплый хрусткий хлеб, сочное печёное мясо и спелые фрукты? Разве не наслаждался за века тысячей блюд с тонкими, причудливыми вкусами? Но еда со временем опостылела.

В прошлые времена дворец графа ломился от роскоши. По-другому нынче. Нет вещи, что удивила бы. В какую ни возьми эпоху в мире появляется множество вроде бы новых штучков, но все они каким-нибудь путём из прошлых изобретений происходят, так что по сути, ничего нового. С искусством то же: разве можно портреты и пейзажи сравнить с первобытными пещерными рисунками? В незапамятное древнее время само стремление что-то на чём-то нарисовать стало необычайным, невиданным озарением, небывалым порывом человеческой природы. Всё, что сумели люди в этом искусстве позже, высоко и проникновенно, куда совершеннее первобытной наскальной живописи, но всё это лишь с чертами новизны. Уловишь, поймёшь, прочувствуешь эти чёрточки – и всё, восхищаться больше нечем. Так во всём, считал граф.

Знал он много, а читать не мог. Все премудрости и философии человечества казались либо смешными, либо наивными. Люди для графа – точно дети неразумные: небрежно пишут даже собственную, всечеловеческую историю. Да разве в чём-нибудь толком разберёшься, имея жизни сто лет, и то неполные?

Когда шедевры-диковины, еда-езда, природа-погода опостылели, граф залютовал: жёг, разорял города и веси. Через пару веков устал от гнева, в суровых горах во дворце над пропастью заперся. Не то чтобы злоборцев боялся – не хотел никого видеть. Изводить под корень людское племя не собирался, – тогда вообще хоть вой. Зло приелось. Такая тоска накатила, что рад бы помереть. Все богатства убрал в сундуки, в подземелье, с глаз долой. Взятся было свои чертоги на совре-

менный лад перестраивать, да хандра не дала – так и остались флигели, дворцы да башни с переходами, лабиринтами подвалов, как в столетних сказках: мрачные, пустые, гулкие.

Не знал страдалец, как участь свою облегчить. Помогла Баба Яга. Она надоумила его, что в природе всегда новое: женская красота.

Стал граф невесту себе искать. Сначала крал престлестниц, но их то суженые освобождали, то сами они сбегали. Граф беглянок не возвращал. Если невеста не могла сбежать, и милый её не вызволял, тогда красота девушку покидала: в холодном дворце, в неволе меркла со временем, таяла, улетучивалась, словно последний снег по весне. Так что у графа всегда получалось одно и то же: сначала восхищение, хищение, потом разочарование.

Но тут мудрая Яга опять присоветовала: «Ты не просто красоту, ты любовь ищи, понял? Настоящая любовь старости не боится и смерти не подвластна».

Обрадовался граф, хоть не всё понял из сказанного. Собрал пленниц, какие остались, посмотрел на них, вздохнул: ни одна ему больше не нравилась. Зачем похищал? Велел всем уходить. Некоторые ушли, а другие подумали: куда? Ждёт ли кто их на родине? Столько лет взаперти. Разучились несчастные на воле жить. Оставил граф бедняжек кого в кухарках, кого в горничных.

2

Жил граф не один, а одиночество всё же мыкал. Служанок своих жалеть не мог из-за неизбывной усталости, от изношенности всякого чувства. Но слова Яги засели, однако, в памяти. Стал вековечный мученик из дому отлучаться, прикидываясь человеком, бродить по странам и городам, к дамам присматриваться.

Много, много нынче на земле женского очарования. Какая из женщин выбрала бы Графа, кого мог бы полюбить он? Тёплой, живой красоты ему хотелось, чтоб от любого движения раскрывалась она неожиданно и всегда по-разному, чтобы всматриваться в малые чёрточки дорогого образа и каждый раз новое находить.

Вот Настасья однажды ему и понравилась...

Как граф её заприметил – сам не знает, но, кто ищет, тот найдёт. Почуялось чёрствому, как ржаной починок, бессмертному сердцу, что именно эта женщина может его осчастливить. Не молода была избранница, но куда ей до графа. Бела лицом, статна, задумчива – вот, пожалуй, и все её украшения.

Преобразился граф в солидного господина и познакомился с ней. Разговорились, приглянулись друг другу. Речь, движения женщины были просты, сдержаны, без кокетства, напускного радушия. В беседе она ничего не навязывала, но и соглашалась не со всем. Нравилось искателю счастья, что Настасья не жаждет привязать к себе нового знакомого, не спешит к замужеству.

Избранница его вдовой была. Только-только её сердце беду отпустить начало, ещё страшилось новой любви. Потому робко, не спеша, открывалась душа женщины новоявленному жениху. Граф тоже осторожничал, ведь сколько раз обманывался.

Настасье не было даровано и материнство, но к тайне сожалений об этом никто никогда ею не допускался. Тихая, едва приметная улыбка освещала её спокойное лицо, когда поблизости играли дети.

Любовался ею в такие минуты граф и не заметил, как стал каждодневно нуждаться в её взгляде, ласковом слове.

Обмякло, оттаяло древнее сердце. Таковую граф жажду жизни почувствовал, что сам себя бояться стал. Искал красу ненаглядную, а полюбил простую женщину. Уж

на что хороша была Василиса Прекрасная, а не тронула злодейского сердца так, как Настасья.

Графова избранница держала цветочный магазинчик. И граф полюбил флоксы, пионы, гортензии и розы. Торговлю тоже, хоть прежде плутовством считал. Придёт в Настасьину лавку, сядет в уголке, наблюдает за работой. Любопытна ему размеренная деловитость женщины, которой не о ком заботиться. «Как ровно, не суетно у неё получается! Побеги рассадит, о поставках-отгрузках распорядится, букет покупателю составит, меж тем пол подметёт, ребёнку на улице улыбнётся, помашет. И будто не устала вовсе», – удивлялся он.

Восхищала и озадачивала графа готовность избранницы с одинаковым деловитым спокойствием принимать всё, что ни пошлёт судьба – плохое и хорошее. Настасья не изведала в жизни большого счастья, но не озлобилась, не опечалилась, всегда была готова делом ли, словом облегчить чью-то тяготу.

«Откуда у неё философское отношение к происходящему?» – Размышлял граф. Это ему следовало бы за тысячелетия научиться так принимать жизнь, раз уж она неизбежна. Но Настасья! С её ли судьбой не бояться невзгод, не горевать о счастье, не вырывать у мира большие сочные куски благ, не бороться за каждую минуту здесь и сейчас по праву короткого века?.. Не мог взять этого в толк новоявленный жених, потому и мнил чудом.

Нет, не волшебница Настя, точно. Но несметными чудесами наполняется мир для того, кто любит.

Решительно всё на свете обрело в глазах графа особенную прелесть. Рассвету и сумеркам, солнцу и ненастью радовался вечный искатель. Даже чертогам своим, когда из города от Насти возвращался. Правда, скоро дома невмоготу стало от чёрно-красного бархата да гранита с мрамором, а главное, от одиночества. Зато рядом

с ненаглядной своей будто воскресал граф, будто до того не жил вовсе.

Может, так оно и было...

Благословил граф тысячелетия, которые привели его к такому чувству, и возненавидел каждую минуту, которую вынужден был теперь проводить без Настасьи. Позвал он любимую погостить в его поместье. Вздохнула та, глянула на своего знакомца, будто спросить или сказать что хотела, но согласилась. Единственная добровольная гостыя приехала в обширное и мрачное горное поместье, из множества просторных покоев выбрала отдалённую комнатку и стала жить, а прежние невесты хозяина – служить ей. Ничего не обещала Настя новому другу, а тот счастлив был уже тем, что она рядом.

Взялся граф для удобства милой замок переустраивать. Золото его подземелий свет увидело, растеклось по миру, возвращаясь хрустальными люстрами и фарфоровой посудой в цветочек.

– Что ты! Не надо, – пугалась Настасья.

– Да я сам давно хотел всё тут поменять, – радостно успокаивал её хозяин.

– Раз так, то я тебе помогу, – решила Настасья и рассказала графу, где какие садовые растения купить можно. Тот исполнил.

Всем цветам, кустам, травам Настасья место в горной усадьбе нашла. Нравится графу, что в его уютных владеньях распоряжается домовитая женская рука. Так и установилось: хозяин в залах и коридорах обновлением командовал, а возлюбленная со служанками цветники-газоны в поместье разбивала. Вечерами они чаёвничали в золочёной гостиной, разговаривали. Упивался Граф чувствами, как юноша, не замечая резких морщинок в уголках губ любимой, того, что она меньше стала говорить и больше слушать. Но как заметил её

грусть, решил праздник устроить. Гостей позвал, цветами невесту осыпал, музыкантов сутками играть заставил. Пригласил Настасью на танец, заглянул в её глаза, а там – тоска смертная.

Заколело у графа сердце.

Принялся он выпрашивать у милой, почему да в чём дело. Настасья на усталость пожаловалась и отдохнуть попросилась, а граф служанкам разнос учинил за то, что плохо невесте его служили. Услышала Настя, вернулась поскорей, кинулась заступаться за них и наедине потом графу сказала:

– Спасибо тебе за любовь, гостеприимство и праздник. Долго я спрашивала свою душу, но не отвечает она на твоё чувство. Отпусти меня, ты ещё встретишь ту, с кем будешь счастлив.

За одну минуту женихово лицо в гневе окаменело, сердце задрожало.

– Никого мне не надо, – произнёс он сухим голосом. – Останешься здесь и выйдешь за меня замуж. А не выйдешь, всё равно не отпущу.

Ничего не ответила Настасья. Вышла из гостиной, всю ночь по замку бродила, привыкая к мысли, что оставаться ей в горных чертогах вечной невестой.

С той ночи граф снова стал Кощеем – тем, кого люди с детства по сказкам знают и ненавидят. Первым делом он над воротами невидимые завесы устроил, чтоб невеста самовольно из поместья не выбралась. Та и не пыталась, от служанок знала, да и сама уже догадалась, что хозяин непрост.

Снова стал он улетать на злые дела. Топил в морях корабли, исподволь внушал учёным, как оружие совершенствовать. Носился по миру, не осторожничая, собой не дорожа, надеялся, что какой-нибудь несчастный случай отнимет у него бессмертие. Иной раз ему от им же посеянного зла доставалось. Прилетел однажды домой

с пораненной рукой. Настасья забинтовать хотела – не дал, так глазами сверкнул, что та отступилась, пошла к своим цветникам и клумбам. Ходила меж них, утешалась их нежной, разноцветной красотой, такой же беззащитной, как она.

Так Кощеево бессмертие в адскую муку превратилось. В замке жить ему тяжело: Настасья рядом. Разбойничать тоже безотрадно: к любимой хочется, вдруг она сегодня поласковой на него взглянет. Ни видеть её, ни отпустить не может. Надеется и не надеется...

Не раз пенял он Яге за совет любовь искать. Та теперь совсем изменилась. Астрологический салон в городе держит, гадает желающим. Стильной, интересной стала. Старухой не назовёшь.

– Зачем ты мне любить советовала? Если бы я знал, какое это мучение...

– Ну да, других мучить легче, – съязвила Яга и уйти велела: некогда ей, посетители ждут.

Шли дни. Графу – что ему? – они – как мгновенья. А Настасья старела. Не явно пока, но ревнивый Кощеев взор чутко ухватывал перемены. Несчастный злодей хотел бы поцелуями разгладить морщинки любимой, ласковым словом затеплить в её глазах отсвет улыбки, но понимал, что это не в его власти. Страдал кудесник, понимая, какая между ними разверзается пропасть, сердце его ещё больше болело.

И зорек влюблённый, и слеп. Всякую малость подмечал Кощей в облике любимой, а главное проглядел.

В горной деревне, ниже по склону, жил сыродел, молчаливый фермер Степан, кто на графову кухню уже лет двадцать сыры да творог поставлял. Вся жизнь его была одно: утро – работа, день да вечер – работа, и ночью то же самое снится. Но вот, словно лбом в столб: Настенька, чужая невеста.

С тех пор, как запала Настасья в душу, стал фермер, выгружая сыры, подольше задерживаться на Кошечевом подворье, заговаривать с женщиной. Поначалу не очень-то ладилось: Настя отмалчивалась или отвечала полслова. Служанки рассказали Степану, что пленница она. На волю ей дорога заказана, и замуж невмоготу.

Сыровар руками развёл: как уйти нельзя? Разве есть закон, чтоб человека без вины насильно под замками держали? Не ведал крестьянин затеи Кошечевой. Это ему, Степану, и приехать можно, и убраться восвояси, а невесте на то – пожизненный запрет. Лишь её тоскливому взору да мечтам преграды не помеха.

Пришло время, и Настасью к сыровару потянуло. Может быть, как раз потому, что не бывать им вместе, разгорелась её любовь. Поняла горемычная невеста: нет ей без Степана жизни, дождалась Кощея, всё рассказала и на свободу попросилась.

От тех слов Кошечеево сердце покрылось трещинами, как земля в засушливое лето. Ничего не выказал он перед ней, обронил только:

– Иди.

Настасья едва поверила, платочка с собой не взяла, кинулась к воротам скорей, чтоб злодей не передумал. Побежала вниз по склону, в деревеньку сыровара. А природа вокруг будто порадовалась за Настю, дорогу её украсила, чем смогла: льдистые горы позолотила, сиреневых теней в долинах настелила, травы ветрами причесала да ветры те и умалила. Гладило кроткими лучами закатное солнце и Настасью, и всё, что успело полюбить за день. Оставалось беглянке последний перевал одолеть. Здесь-то, словно из-под земли, явился пред ней Кощей и заговорил:

– У меня несметные силы, а убить тебя не могу. Зато я приговорил Степана, наслал на него смертельную

немочь. Но если ты поспешишь отвезти сыровара к горному озеру, он выздоровеет. Спешу.

– Зачем ты хочешь его погубить? – с горечью спросила Настасья.

– Чтобы тебе жить, любить и мучиться.

– Тогда почему даёшь надежду на спасение?

– Посмотрю, как ты будешь стараться обогнать смерть. Не знаю, кто кого опередит, но обещаю, что не стану помогать ни тебе, ни смерти. Может, от твоих страданий и стараний мне полегчает.

Ничего не ответила Настасья, бросилась к дому любимого, нашла того на постели. Степан обрадовался ей, приподнялся на локтях.

– Я сейчас, погоди. Устал сегодня что-то...

– Лежи, лежи, – остановила его Настасья, села у кровати.

Держит она в ладонях Степанову руку и понимает: насчёт болезни Кощей не шутил, значит, и в озерной воде спасенье точно есть.

Сыровар уснул. Настасья побежала к соседям про высокогорное озеро спрашивать и узнала, что узкая щербнистая дорога из села ведёт на дальний высокий хребет, к перевалу, где с подветренной стороны пастуший домик притулился, туда Насте Степана везти нужно. Соседи помогли лошадей оседлать, собрать в дорогу одежду, еду, другое, что в пути пригодиться может.

Степан проснулся, и напутствуемые соседями, они с Настей тронулись в путь.

3

Ехали уже несколько суток. Степану становилось всё хуже. Он держался в седле с трудом, преодолевая себя, – не хотел отягчать без того трудное предприятие.

И Настасья крепилась, и тоже виду не показывала, что всё замечает, что горестно и страшно ей.

Каменистая тропа забиралась выше, становилось холоднее: пронизывающий ветер не давал ни минуты передышки, ещё меньше времени оставлял путникам смертельный недуг. Но вот и пастушья заимка, и последняя круча, за ней – спасительное озеро.

Встретил путников молоденький пастух. Он помог Степану спешиться, устроил ему в доме лежанку. Перед решающим подъёмом больному требовался отдых, да и Настасье не мешало дух перевести. Пастушок меж тем коня в тележку впряг (ехать верхом Степан уже не мог) и снарядился проводить странников до озера кратчайшим путём.

Процессия поднималась медленно. Настасья шла, держа за тележку, тревожно следя за малейшими движениями век, губ возлюбленного. Степан временами забывался не то сном, не то беспамятством, судорожно глотал скудный воздух высокогорья, что-то бормотал фиолетовыми губами, а то внезапно вздрагивал, словно кем-то выталкиваем из небытия, открывал глаза, обводя небо, Настасью, горы тревожным взглядом.

Настасья, глядя на него, терзалась, корила себя: «Может, не стоило верить Кощею и тащить больного сюда? Что если дорога к озеру – и есть гибель, а не путь к спасенью?»

– Но, но, – погонял послушную лошадку пастух.

Миновали перевал, повозка пошла шибче. Выехали на высокогорное плато, покрытое травой и мелкими цветами. Цепи хребтов словно расступились. Лужайка с одной стороны круто обрывалась. Внизу, под отвесным берегом, поросшим терновником, будто осколок зеркала, лежало в теснине заветное озеро. Повозку остановили. Пастух выпряг лошадку. Она тихо отбрела в сторону, сощипывая сочную траву.

Степан часто, прерывисто всхрипывал. Настасья подоткнула одеяло, поправила овчину под головой любимого и вдруг остро осознала исход. До этой минуты в её истрепленной страхами душе ещё оставалась надежда и вот истаяла, давая место стремительно разгоравшемуся пламени тоски. Настя побрела к терновым кустам, глянула вниз и поняла, что она сделает, как только...

Степан, чувствуя приближение смерти, подозвал прожогатого и едва слышно произнёс:

– Смотри за Наст...

В Настасьиных мыслях в тот же миг прозвучал ледяной голос Кощея: «Вот сейчас...»

Женщину словно кто-то протолкнул сквозь колючий кустарник. Ни удержать Настасью, ни даже шагу за ней пастух не успел сделать, когда та кинулась вниз, в озеро.

– А-а! – Закричал юноша, внезапно оставшись совсем один, переводя взор то на повозку с недвижимым телом, то на терновник.

Лошадка перестала жевать, подняла голову и смотрела на человека, удивлённая его отчаянием. Парень опустил на землю и затих. И всё вокруг притихло, словно превратилось в памятник, картину, декорацию. Лишь равнодушным сопеньем лошади жизнь робко напоминала о себе ...

«Какая бесповоротная штука смерть», – подумал Кощей, убрав руки от медной, с прозеленью, чаши, наполненной водой из того самого озера, куда так отчаянно шагнула Настасья.

Он-то хотел, чтобы горе медленно убивало неверную любимую всю жизнь, но вот ведь: женщина пережила злодея... Тот видел, как она летела, как ударилась о воду. Озеро могло убить её, но Кощей не дал. Вечная невеста утонула. Но не умерла...

Она медленно плыла под водой, озирая каменистое дно, грациозно колеблющиеся водоросли. Рыбки разлетались в стороны, точно водяные бабочки, не слишком поспешно – играючи. Они не боялись Настасьи. Новые её ощущения были остры, правда, тяжесть на сердце подсказывала, что в прошлой жизни случилось горе, но она не могла вспомнить, какое именно.

Новоявленную русалку удивляло, как это она плывёт без усилий, не взмахивая руками, и почему-то боится вынырнуть на поверхность. Наверное, она чувствовала, что на побережье её забытая великая боль напомнит о себе.

Пошли дни, годы, потянулись столетия...

Раз в год, в полнолуние Настасья, одолевая страх, научилась всё же выходить на узкую полосу каменистого пляжа. На берегу русалка выжимает длинные белые волосы, садится на камень как раз под тем обрывом, откуда она когда-то бросилась в воду.

Над ней, на высоком нагорье, там, где некогда стояла повозка, похоронен Степан. Пирамидку из камней на могиле сложил пастух. Русалка не умеет летать или карабкаться по скалам. Но если бы она смогла подняться к нагорью, несчастье вернулось бы к ней вместе с памятью, тогда пришлось бы страдать вечно, ведь русалка не может умереть ещё раз.

Сидя на камне у самой воды и глядя на луну, она ощущает смутную тоску и поёт. Без слов. Страх отступает, ей становится спокойно. Те, кому доводится слышать русалочий вокализ, уверены, что эта мелодия их чувств. Счастливые слышат в ней радость, те, кто несчастлив – печаль.

Слышит пение и Кощей. Успокоился ли он? Нет. Умер. То есть, живёт, конечно, но все радости и горе-

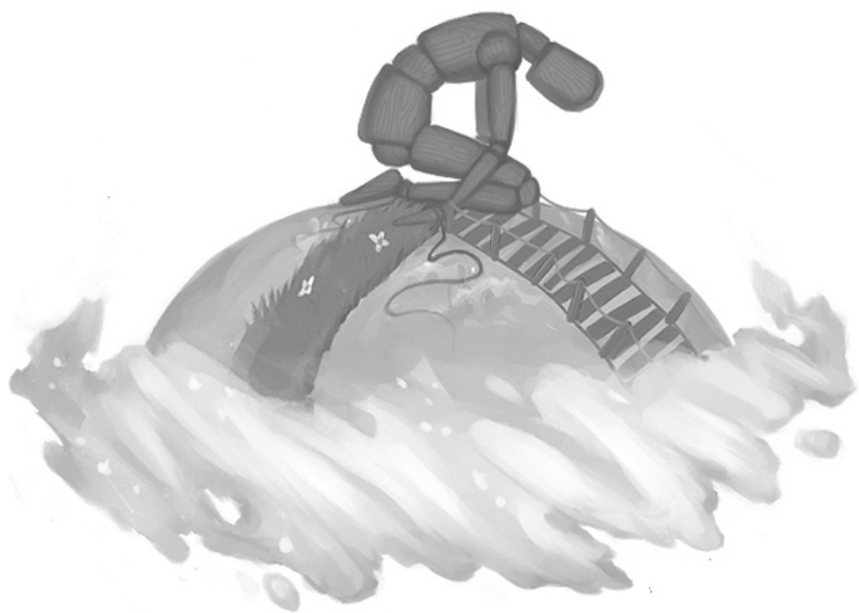
сти, добро и зло для него погибли. До того он много раз умирал, воскресал и точно знает, что настоящая смерть, как избавление, как покой, никогда не будет дарована ему, равно как и любовь женщины. Граф мог бы погибнуть от тоски, наблюдая счастье Настасьи со Степаном, но он упустил свой шанс.

Злодей по-прежнему любит Настасью – седую русалку, но не может смотреть ей в глаза.

Мощная колдовская сила зла в нём жива, но он не дорожит ею, потому что она слабее любви. Главная мудрость, которую Кощей уразумел за бессмертие – значение слова «никогда». Он снова ходил к Яге. Но та не стала ему ничего советовать. Много клиентов, знаете ли, некогда...

Кощей нашёл себе занятие сам. Он больше не вмешивается в дела людей – помогает силам, меняющим облик земли: океанским штормам, землетрясениям, вулканам, а потом, как скульптор, придирчиво осматривает работу.

Притчи



ИДЕАЛЬНАЯ КУКЛА

Отец обучил сына плотничать, столярничать а теперь и не знал, радоваться тому иль огорчаться.

– Главное, – внушал он отроку Фёдке. – Улови ход рисунка древесных нитей не то что рукой – инструментом, понимаешь? Как мать наша. Та глазами знает, доброе ли тесто подошло, мять или не надо.

И сын понял. Не сразу, конечно. Ковырял, ковырял парнишка поленце – отец не подгонял, знал, что время поможет, – и пошло.

Однако скоро выяснилось, что не станет молодец столы-стулья мастерить, дома ставить. Кукол-марионеток навострился выпиливать-вытачивать шельмец окаянный.

Игрушки хороши, а только где видано, кем заповедано, чтобы деревенский плотник глупостями занимался. Люди к ним – с заказами, отец едва успевает, а отроче сидит: голову кулаком подпёр, новую невиданную куклу измышляет.

Глядел на то отец, ворчал-строжился, пенял малому за безделье, раз не сдержался, прикрикнул.

Не вынес юноша укоризны, ушёл из дому, куда ноги повели.

Долго о нём никакого помину не было. Через год-другой зашелестела молва: ходит по городам-сёлам кукольник. На площадях, в театрах такие представления устраивает, что после финального занавеса тишина

в зале ещё минут десять висит. Не хотят глаза видеть, как парнище кукол за тенета подёргивает, не желает ум понять: мастерству поражался иль чуду. Зрители расходятся ошеломлённые: так живо, так достоверно играют деревянные артисты.

Кукольник, именем Фёдор, – молчун молчуном. После представленья в комнатку на чердаке уходит, запирается. Ни поговорить с кем, ни стаканчик, прости Господи, пропустить не желает. Оттого в людях пуще интерес закипает. Вот и ломают, бывало, ближе к сцене – поглядеть.

По молодости Фёдор угрюмцем вовсе не был – мечтал больше. Хотелось ему новую куклу сделать лучше прежней. Со старыми куклами через время всё не то казалось, не так: движенья артистов угловаты, лица невыразительны. Новые пьесы для них сочинять раз за разом трудней.

Постепенно слились его чаяния и мечтанья в образ одной, необыкновенной – совершенной куклы. Трудна задача, оттого притягательна, оттого манит в снах, подчиняет мысли. Только досадовал молодец, что мало времени думать да мастерить, надо представленья давать. Как без них? Ночевье, инструмент-материал, да есть-пить – за всё плата нужна.

Пытаясь из дерева человека сотворить, возлюбя его ещё в мечте, занелюбил кукольник людей – тех, кто его спектакли не дыша смотрел.

Каждый свободный час просиживал мастер над замыслом. Ловчели руки, и тем дивней становились представленья. Но угрюмел и грубел Фёдор. Заодно грузнел и седел. Простой люд он уж ненавидеть забыл – злился теперь на богатую публику, какая тоже зазывать его стала, как только разведала мастерство кукольника.

Время, знай, катится, не мешкает.

У Фёдора денег скопился полон мешок, а мастер по-прежнему в худой одежде со старым самодельным инструментом в чердачной камере обретается, где только кровать да сундучище с куклами. Некогда мастеру удобствами заниматься – мечту воплощать надо.

Сколь сортов дерева перевёл, какие только лобзики-стамески под свою руку не изобретал! С ладони на ладонь лубяную болванку перенимал и подолгу держал навесу – ошущенья проверял, постигал древесину. Или закроет глаза, слушает: не вышепчет ли ему дерево какие секреты. А оно будто впрямь шептало, а погода заговорило, запело в работе и выдало, наконец, все свои тайны. Вышло-таки в одночасье как раз то, что столько лет мучительно снилось.

Взял мастер с верстака своё совершенное творенье дрожащими от восторга, не верящими руками. Как наречь новорожденца, какие роли ему поручить? Так и эдак решай – всё подходит новому артисту. Наперво Фёдор в клоуны его определил. Так и назвал – Клоун, – облачил по замыслу, пьесу для него сложил, читал ему даже, а тот чуть улыбочиво глядел на создателя. Понимал, чувствовал будущую роль – так верилось мастеру.

С той поры у Фёдора в привычку вошло беседовать с любимцем, да и невозможно было не заговорить с ним.

С Клоуном подняла кукольника к небесам новая волна славы. Может, Фёдор привык бы к своему шедевру, перестал удивляться, если бы в одиночку им любовался. Но зрители каждый раз приходили в восторг, неистовствовали, то радуясь, то сочувствуя чудесному артисту.

За этими бурями терялся сам создатель. Люди на спектаклях уже не только нитей марионетки не замечали, но и того, в чьих они руках. Фёдора это сначала

забавило, потом смущение взяло: такое поклонение казалось странным, ведь как ни крути, Клоун всё же был вещью.

По вечерам мастер разбирал игру своего главного артиста: хвалил, журил. Если бы кукольника слышали соседи, приняли бы за умалишённого, хотя равнялось ли безумие Фёдора безумству зрителей на спектаклях?..

Сначала в чудодейственность деревянного артиста уверовали дети – им Фёдор позволил однажды коснуться марионетки на счастье и теперь проклинал тот день. За ребятами ритуал подхватили взрослые.

Час-два после представления порядком уставший мастер должен был держать любимца публики, и скрепя сердце наблюдать, как несчётные жаждущие благоговейно касаются одежд деревянного артиста. Как ни тяготили люди мастера, он через силу, с душевной тяготой терпел. Зато дома, наедине с куклой, случалось, срывался в ругань.

– Что они к тебе так липнут? – скрипел сквозь зубы, искоса взглядывая на игрушку.

Кому как не мастеру знать, что у марионетки нет души, нет ничего запредельного, во что уверовала толпа.

Сильней безумствовали поклонники Фёдорова искусства, сокрушительнее становилась досада мастера. Он сгорбился и потемнел лицом, будто слава Клоуна нещадно давила на плечи. Тяжко покачиваясь, возвращался кукольник в каморку, ронял марионетку на ларь у окна, сам валился поперёк кровати и забывался бессвязным, бестолковым сном. Клоун всю ночь смотрел на хозяина и улыбался.

Очередным вечером после спектакля измученный Фёдор не бросил артиста, по обыкновению, на сундук. С долгим пристальным вниманием жадно принялся осматривать своё совершенное создание. Вот шарниры суставов: нигде ничего не скрипит, не кли-

нит. Вот личико со странной отрешённой полуулыбкой больше в глазах, чем на губах... Мастер искал изыяны. Не найдя, нахмурился, задумался и вдруг просветлел: шарниры, антрацитовый блеск глаз – и есть несовершенство! Разве у человека так бывает?

Скривив улыбку, Фёдор проговорил:

– Почему тебя любят, знаешь? Потому что тебя замыслил я, создал я, одушевил, как мог, и оболванил тобой тысячу простофилей.

Клоун пялился озорно, не умея сочувствовать.

– Тебя любят, притворщик, а ко мне даже ничтожный пьянчуга в кабаке не подсаживается – боится, но я докажу им...

Решился мастер раскрыть людям правду. Следующим вечером, когда спектакль закончился, вышел кукольник к зрителям и сквозь восторженный гул прокричал:

– Люди добрые, кукла моя – не чудо, а всего-навсего вещь для вашего увеселенья. Вот, трогайте, смотрите: дерево, шарниры, гвоздики.

И протянул марионетку в зал.

Что тут началось! Папаши с ребяташками на плечах, женщины, парни с девушками лавиной хлынули к сцене, топтали друг друга, цеплялись за верёвки, драли лоскуты с деревянного артиста. Суставы ему повредили, краску ободрали, и если б Фёдор не вызволил куклу, вовсе бы изломали.

Спрятав Клоуна в мешок, мастер кое-как отбил от обезумевшей толпы и бросился на улицу. Домой он двинулся окружно, рысцой, стараясь не попадать в свет фонарей. Темнота, проливной дождь облегчили бегство.

Едва отдышавшись, у себя в каморе вынул мастер покалеченное творение. Кукла смотрела на него как будто жалеючи. Фёдор удивился:

– Калека несчастный, меня жалеешь? Почему? Жалеть может живая душа, а ты – кто? Или что...

Он всё ещё не мог унять дрожь, скрипнул зубами, бросил игрушку на кровать, покачиваясь, навис над ней и, тяжело дыша, прохрипел:

– Отвечай: где твоя душа? Бездушного нельзя пристыдить или унижить. Всё это терплю я, понимаешь, болван совершенный? Легко быть добрым, весёлым всегда и со всеми, когда не бьётся сердце, не болит душа... Ты отнял у меня всё. Я мог бы в деревне помогать отцу плотничать, радоваться жене и детям, мог в богатстве наслаждаться жизнью, известностью, поклонением, будь я менее талантлив и не сумей создать тебя, чудовище. Всё, что получил ты, – моё. На твоём месте должен быть я...

Фёдор махнул рукой. Ответа ждать – от кого? Спотыкаясь, довлачился до ларя с куклами и брякнулся на него.

Марионетка бездвижно лежала поперёк на постели, смотрела в потолок, равнодушно снося проклятья, переходящие в невнятное брюзжание...

Наступило серое, как потолок каморки, утро. Маэстро очнулся и сразу почувствовал боль в затёкших членах. Он поднялся, потянулся, уперев кулаки в поясницу. Спать поперёк кровати не очень-то удобно. Оправив измятые клоунские штаны, накинув на плечи широкие лямки, он подошёл к окну, возле которого стоял театральный ларь, и взял на руки своего любимца.

– Ай–яй–яй, – мягко пожурил он куклу, оглядывая её истрепавшийся кафтан. – Фёдор Степаныч, Фёдор Степаныч, почему не следите за своей наружностью? Вы ведь у нас прима. Мне приснился замечательный сюжет. Про деревенского плотника и его талантливого, но несчастного сына. Вам опять достанется главная роль.

Эдак Клоун выговаривал марионетке-мастеровому Фёдору, бережно укладывая его в сундук к остальным артистам.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛИСТА

Ему было темно, тепло и спокойно.

Но однажды стало тревожно и тесно. Он упёрся в скорлупки своей уютной коробочки и услышал щелчок. Стало свободнее.

«Подожди ещё, – прошелестела чья-то добрая вкрадчивая речь. – Совсем недолго».

Он готов был послушаться, но силы прибывали, и очень хотелось потянуться, распрямиться, посмотреть на себя.

Что-то треснуло, и в расщелину заструился лёгкий дрожкий холодок. Потом заглянул розовый свет, – не зажётся, а как будто поднялся из дали.

Холодок щекотал. Свет разгорался, теплел, становился золотым.

Сил накопилось столько, что лист растолкнул наконец чешуйки почки и вывернулся наружу, прямо навстречу большущему светящемуся шару, который радостно тянул навстречу прозрачные ленты лучей. Новорождённый лист осмотрелся и увидел много-много зелёных братьев, густо облепивших ветви матери-липы. Все замерли перед сияющим шаром.

«Это солнце, дети», – объяснила им мама.

НЕ ИЩИТЕ МЕНЯ...

Бог не мог и думать, чтобы не начать создавать, потому что быть сущим, значит, творить.

Вот стало: свет, небо, райский сад, великие в завершённой продуманности.

Небо и эдем у Творца получились столь окончательны, будто умерли, едва родившись: без превращений, случайностей, дающих ощущения и чувства. Любоваться совершенством страшно: у него нет желаний, оно ни к чему не стремится, потому ничего о себе не знает, кроме того, что оно неповторимо. С ним скучно и одиноко, ведь думать и сообщать совершенство может только о себе.

Прозревая небо с эдемом, Мастер постиг одиночество. Он решил: совершенству не нужно быть зримым – оно должно угадываться сквозь внешние изъяны и сумбур, чувствоваться на расстоянии, звать к себе беспокойных, дотошных и требовательных.

И Господь затеял Землю.

На этот раз Ваятель не по замыслу, а по наитию что-то где-то оскуднил, где-то пересытил светом, цветом, формами, силой. Едва, завершив, Он отвёл руки, и всё на Земле пришло в движение, зажило, задышало. Само себя уничтожая, из себя же рождалось. Быстро и медленно, в отдельном и всеобщем. Оттого даже в скупом пейзаже затаены переживания и драмы. Чтоб обнаружить их, почувствовать источаемую ими энергию, нужно порой долго всматриваться в горные осыпи или волнистый горизонт пустыни. Но разлюбить потом уже невозможно.

Взрываясь подземным огнём, ударяясь тяжеловечной океанской зыбью о скалы, перемалываясь в воронках ураганов, природа рождала таких причудливых детищ, что Господу было, над чем задуматься. Планет-

ная стихия питала Его размышления: Он понял, чего не мог.

Не мог создать равного Себе. Куда, к чему прилагать Разум, Мошь?

Тогда Мастер сотворил души, предназначив их Земле, пожелав, чтобы они, как вся здешность, росли из себя, преображаясь. Стремилась к совершенству, не достигая; напивались земным, не пресыщаясь.

Но как это сделать бесплотным? Зачем лететь сквозь морскую бурю, если глаза не заслезятся от колких порывов урагана, не проймёт холодная дрожь, не устанешь и не потеряешься? Зачем заглядывать в вулканы, если не чувствовать жара? Можно ль восхищённо замирать от безбрежия ночного неба, если любой звезды достигнешь быстрее мысли? Как душам расти, крепнуть, копить силу, мудрость?

И Господь дал им тела.

В минуту, когда люди – мы – стали, на нас хлынули, накатились ощущения, ослепили, оглушили, запутали. Чтоб не терять нам из виду Отца Своего, остался Он в каждом человеке, как искорка-маячок. Он нигде и везде, в каждом и всяком, живом и сущем.

Бог не ждёт от нас важных прозрений. Ждёт лишь, чтоб не искали Его вне, а знали Его внутри себя.

Обожествлённой душой мы чувствуем: прелесть мира, залог земной жизни – в несовершенстве, оправдание её – в стремлении к совершенству.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Родные не близкие.....	5
Холодная звезда Стелла.....	95
Фантом.....	159

РАССКАЗЫ

Черский.....	207
Милька.....	229
Лето, капельница, любовь.....	248
Последняя любовь Кощея Бессмертного.....	265

ПРИТЧИ

Идеальная кукла.....	281
День рождения листа.....	287
Не ищите Меня.....	288

Голубева Светлана Сергеевна

Параллельные перекрёстки

Повести, рассказы, притчи

Книга публикуется в авторской редакции

Технический редактор Т.А. Агапий

Художник В.А. Ступишина

Бюджетное учреждение культуры Орловской области

«Орловский Дом литераторов»

302028, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 1

Подписано в печать 10.05.2023 г. Формат 84x108/32.

Печать офсетная. Бумага офсетная.

Усл.п.л. 15,33. Тираж 400 экз. Заказ № 591

Отпечатано с готового оригинал-макета
в АО «Типография «Труд». 302028, г. Орёл, ул. Ленина, 1.

